

СВОРА: ТВОИ СОСЕД



РЕЯ БЁРН

Рея Бёрн

Свора: Твой сосед

<https://litres.ru/74258667>

Аннотация

Каждую ночь я слушаю его через стену.

Мне двадцать, и это единственная близость с мужчиной в моей жизни — чужие стоны через тонкую стену, подушка, прикушенная до вмятин от зубов, и стыд, который не помогает остановиться.

Днём я невидимка. Серая куртка, взгляд в пол, наушники — мой ров с водой. Ночью — дерзкая стримерша с тысячей зрителей и сталкером в чате, который помнит каждую мою песню, каждую шутку, каждую минуту эфира.

А потом на парковке у универа я спотыкаюсь перед байкером с татуировками до костяшек и пирсингом на языке — и он говорит мне вещи, от которых горят уши и хочется либо ударить его, либо попросить повторить.

А потом я узнаю, что он живёт за моей стеной.

Содержание

Глава 1. Мила: Стена	4
Глава 2. Мила: Парковка	9
Глава 3. Мила: Записка	16
Глава 4. Рэм: Голос за стеной	28
Плейлист к книге	38
Глава 5. Мила: Невыносимый	42
Глава 6. Рэм: Двигатель	54
Глава 7. Мила: Крыльцо	70
Глава 8. Мила: Лифт	80
Глава 9. Рэм: Она	96
Глава 10. Мила: Замок	105
Глава 11. Рэм: Диагноз	121
Глава 12. Мила: Гречка и предел прочности	132
Глава 13. Рэм: Кожа и бензин	141
Глава 14. Мила: Приглашение	164
Конец ознакомительного фрагмента.	166

Глава 1. Мила: Стена

Он стонет. Тихо и сдавленно, будто вжал лицо в наволочку или стиснул зубы до сведённой челюсти, но стены в этой новостройке — десять сантиметров дешёвого гипсокартона, пропускают каждый звук.

Я лежу, уставившись в потолок на полоску жёлтого света от уличного фонаря, и не двигаюсь. Одеяло натянуто до подбородка, пальцы вцепились в край пододеяльника, я чувствую каждую нитку застиранного хлопка под подушечками, и пытаюсь не сосредотачиваться на том, что происходит за стеной. Безуспешно.

Он стонет снова, громче и ритмичнее, дыхание тяжелеет, нарастает с хриплым надломом на выдохе, и это невозможно спутать ни с чем. Так звучит мужчина, который трогает себя в темноте. В десяти сантиметрах от моей подушки. Он не знает, что я слышу каждый вдох и каждую паузу, после которой ритм начинается заново, быстрее и отчаяннее прежнего.

Мне жарко, низ живота тяжелеет и наливается густым пульсом. Моё тело, не спросив разрешения у разума, отзывается на чужой ритм: бёдра сжимаются сами, между ног уже влажно, хотя я не шевелюсь и не делаю ровным счётом ничего, только лежу и слушаю, потому что не слушать не могу. Зажимаю рот ладонью.

Сорок минут назад я закончила стрим. Погасила три монитора, отключила захват движения и рухнула в кровать после четырёх часов эфира на тысячу зрителей, тысячу пар глаз, следящих за КамиПандой, аниме-девочкой с дерзкой ухмылкой, которую я нарисовала сама полтора года назад. Ками — это я, единственная версия меня, которой разрешено быть громкой: она дерзит донатерам, поёт с хрипотцой на низких нотах, и ей хватает заработанных денег, чтобы платить за однушку и отправлять переводы маме.

Но здесь, в темноте, я Камилла. Мне двадцать лет, я учусь на факультете гостиничного дела, ношу безразмерную серую куртку и смотрю в пол. Моё главное правило с четырнадцати лет: чем меньше тебя замечают, тем безопаснее.

И прямо сейчас эта безопасная броня трещит по швам, потому что живое тело реагирует на стимулы.

Стимул за стеной выдаёт финальный аккорд, вибрирующий низкий стон.

От этого звука у меня сводит челюсть и бёдра, а глубоко внизу сжимается так туго и горячо, что я до боли прикусываю кожу у основания большого пальца.

Потом всё обрывается разом, ни скрипа, ни шороха, как будто за стеной выключили человека. А я лежу с ладонью на губах и колотящимся сердцем и никак не могу отлипнуть от этой тишины, всё жду продолжения, дура. Трусы противно липнут к коже, и бесит меня именно эта мелочь, бытовая и унижительная, потому что злиться на неё проще, чем на себя.

Ненавижу, когда тело решает за меня. Трогать себя не стану. Хочется так, что дрожат бёдра, но за стеной лежит человек, лица которого я ни разу не видела, и если сейчас сдамся, получится, что он мне нужен. Что мне вообще кто-то нужен.

За двадцать лет меня ни разу не целовали. Никто не держал за талию, не дышал мне в шею, и от одной мысли, что живой мужчина окажется настолько близко, что услышит, как я сглатываю, внутри всё привычно каменеет.

А сейчас плавится, и это самое паршивое.

Переворачиваюсь на бок, обнимаю плоскую подушку и делаю единственное, что умею в темноте без стыда: тихо, одними губами, напеваю.

Четыре часа назад.

— Добрый вечерочек, бамбуковые мои. — Голос в микрофоне звучит звонко, нахально растягивая гласные. На экране ушки аватара шевелятся, откликаясь на движение моих бровей. — Караоке-пятница, детки, вы знаете правила.

Чат летит, донаты с заказами песен появляются на экране. Я пою, шучу и отмахиваюсь от влюблённых подростков, всё идёт по сценарию, пока взгляд не цепляется за знакомый ник.

YourNeighbor_: «Сегодня на низких звучишь чище, чем на прошлой неделе. Занимаешься?»

Сердце сбивается. Он пишет каждый стрим, три месяца подряд, и не как обычный подписчик — как человек, кото-

рый препарирует каждый мой вздох, помнит песни месячной давности и подчеркивает, что эфир начинается на десять минут позже обещанного. Я баню его, зная, что через два дня появится новый аккаунт: до этого был Your_Neighbor_, перед ним UrNeighbor. Он играет со мной, демонстрируя пугающую внимательность, только мне совсем не весело играть в эти игры, и каждый раз, блокируя его, я чувствую холод между лопатками.

— Он опять сидел весь стрим, — говорю Лизе в голосовом чате, когда эфир закончен. Лиза — моя единственная подруга, три года общения в сети и ни одной личной встречи. На фоне у неё замолкает стрельба: когда разговор серьёзный, она ставит игру на паузу.

— Так, стоп. Это какой по счёту акк, шестой? — Сон из её голоса выветривается мгновенно. — Мил, нормальные люди после бана обижаются и уходят навсегда. А этот как герпес, обратно отрастает. Я ржу, конечно, но вообще ни разу не смешно. Так себя ведут психи. Не хочу тебя пугать, но будь осторожнее, ладно?

Ладно.

Её «так себя ведут психи» всё ещё крутится в голове, когда будильник вытаскивает меня из сна в шесть сорок пять.

Сажусь, и бёдра сжимаются сами, тело помнит ночь лучше, чем мне хотелось бы. Стягиваю трусы с ощущением, что уничтожаю улику, лезу под душ и выкручиваю кран до кипятка.

За стеной тихо. Спит, наверное. Или стоит под водой так же, как я, и знать не знает, что этой ночью я украла его стоны себе.

Натягиваю джинсы, серую куртку не по размеру, волосы прячу в хвост. Из зеркала в прихожей на меня коротко смотрит девочка с загнанными глазами и тенями от недосыпа, и я ей не нравлюсь — впрочем, она мне тоже. Коридор длинный, пахнет свежей штукатуркой, справа его дверь, коричневая, с глазком, такая же, как моя, как и все остальные на этаже.

Я ускоряю шаг и натягиваю наушники на голову. Выкручиваю громкость на максимум — чем меньше слышишь, тем спокойнее.

Глава 2. Мила: Парковка

Автобус воняет соляжкой и чужим утром. Держусь за поручень двумя пальцами, он липкий и нагретый десятками ладоней, и большего контакта с этой поверхностью я себе позволить не могу. Рядом кто-то хлебает кофе из термоса, у кого-то духи из сетевого магазина, приторные до дурноты, и я стараюсь дышать через раз. В приоткрытое окно задувает май, утренний холодок к обеду сторит без следа, а сейчас ещё щиплет скулы.

Сорок минут от моей окраины до кампуса, ежедневная повинность. Маршрут заучен, ноги сами выносят на нужной остановке, голова уплывает в музыку, и до самого универа меня как бы нет.

Куртка на мне серая, лёгкая, на размер больше, чем нужно, и это не потому что моего размера не нашлось. Просторная ткань ничего не облегает, не очерчивает и не выдаёт. Когда ты невысокая худощавая девочка с тягой к невидимости, оверсайз становится не модой, а способом спрятаться.

На своей остановке я выхожу в поток студентов, и он обтекает меня, как речная вода камень на дне, не задерживаясь и даже не меняя скорости. Это правильно, ровно ради этого я три года оттачивала искусство не-присутствия, быструю походку с опущенным подбородком, при которой ни один человек не поворачивает голову, потому что смотреть не на

что.

Факультет гостиничного дела — коробка на отшибе кампуса, сложенная из жёлтого кирпича, с табличкой, которую полгода назад заклеили стикером «Добро пожаловать, студенты». Деканат его до сих пор не снял, видимо, признав юридическую точность формулировки.

Дальше парковка. Я вижу их каждый день и каждый день обхожу по широкой дуге, тем бессознательным манёвром, которым обходят крупную собаку: она, может, и на поводке, но зубы-то на месте.

Пять спортбайков стоят в ряд, раннее майское солнце лупит в хром и пластик. Зелёный, белый, жёлтый, матовый чёрный, а крайний справа чёрно-красный, натёртый до глубокого масляного блеска. Так блестят только вещи, которые хозяин по-настоящему любит.

Сегодня взгляд цепляется за них дольше обычного, хотя ноги уже несут меня дальше по привычной безопасной дуге.

Парни стоят тесной кучей, громкие, татуированные, в растёгнутых кожанках и растянутых толстовках, и занимают парковку так, будто вопроса, можно ли им тут находиться, в природе не существует.

А один, тот, на кого я стараюсь не смотреть и каждый раз проигрываю, сидит на своём чёрно-красном коне. Высокий, под метр девяносто, темноволосый и темноглазый, рукава татуировок ползут от плеч до самых костяшек сплошным плотным рисунком, в ушах тоннели, в брови стальной шарик пир-

синга. Сидит, будто парковка вместе со всем кампусом — продолжение его личного дивана, нога на подножке, спина расслаблена, и до суеты вокруг ему нет ровным счётом никакого дела.

Рядом крутятся две девчонки, кажется, с экономического, и хихикают тем щебетом, который у некоторых включается сам при виде определённого сорта мужчин. Блондинка в короткой юбке делает шаг к байку и улыбается так старательно и открыто, что мне неловко за неё даже издалека.

— Шикарный аппарат. — Патоки в голосе столько, что увязнуть можно. — Покатаешь как-нибудь?

Он поворачивает голову медленно и лениво, как человек, который не торопится никогда, потому что мир подождёт. Смотрит на неё тяжело, и она отступает на полшага, не от страха даже, просто под таким взглядом игривость улетучивается. Это не интерес, это оценка, холодная и короткая.

— Покатал бы. — Голос низкий, вибрирующий, невозмутимый до наглости. — Но на выезде глубокая яма. Пассажиры после неё обычно начинают верить в бога, а я терпеть не могу религиозные диспуты.

Лицо у него при этом не меняется вообще, будто он озвучил прогноз погоды.

Его друг за спиной, крепкий подвижный парень, ржёт так, что слышно, наверное, в деканате. Блондинка идёт красными пятнами, подруга дёргает её за локоть, и обе спешно ре-

тируются под частый стук каблучков.

Красавец с пирсингом в носу, привалившийся к зелёному мотоциклу, лениво добывает:

— Рэм, ты просто чудовище. Единственная девчонка, которая сама подошла — и ту отшил. На вымирание нашего вида работаешь?

— Мой вид прекрасно чувствует себя в одиночестве. Как панды.

— Панды вымирают, Рэм. Буквально. Размножаться не хотят.

— Значит, моя мизантропия одобрена эволюцией.

Я прохожу мимо, глаза в асфальт, наушники всё ещё на шее, потому что я замешкалась, слушая, как чужой мужчина произносит слово «панда» низким голосом. Просто совпадение, само по себе слово ничего не значит. И всё же.

Я делаю шаг, и бордюр, проклятый серый бетон в полуметре от тротуара, ловит носок моего кроссовка. Спотыкаюсь, не падаю, но на долю секунды теряю контроль: руки взлетают в воздух, рюкзак бьёт по рёбрам, и в это мгновение я поднимаю глаза и ловлю его взгляд.

Тёмные глаза смотрят прямо, без насмешки, со спокойным вниманием, фиксируя. Зато ухмылка, изогнувшая один уголок его губ, будто только и ждала подобного перформанса.

Ускоряю шаг и злюсь. Он посмотрел на меня так, как смотрят на нелепого прохожего, скользяще, без интереса.

Никакого события не произошло, а мурашки от запястий до локтей спишем на реакцию нервных окончаний на майский ветер.

Злюсь на злость, у которой нет адреса. На то, что запомнила слово «Рэм», и теперь оно сидит в голове занозой.

В аудитории меня ждёт ещё тёплый латте, картонный стакан из настоящей кофейни, а не из автомата. Олег ставит его на мою парту с улыбкой, которая у него всегда наготове для меня, как выглаженный носовой платок в кармане приличного человека.

— Ещё горячий. Латте с карамелью.

Я признательно улыбаюсь. Я не говорила, что люблю латте с карамелью, но он заметил.

Олег тихий и аккуратный, с приятным лицом, которое забывает мгновенно, потому что в нём нет ни одного острого угла. Рядом с ним я превращаюсь в невидимку в квадрате.

Его пальцы тянутся к моему конспекту, якобы смахнуть крошку, и скользят по запястью.

— Всё в порядке?

Я благодарно киваю. Олег — единственный человек в университете, кто регулярно спрашивает, как я, и ждёт ответа.

После пар выхожу на крыльцо, и он там. Рэм. Похоже, курить у входа — его основная специальность, а всё остальное так, факультативом.

Парковка уже опустела, остальные разъехались. Он стоит

один, спиной к перилам, кожанка нараспашку, сигарета дымит тонкой струйкой между татуированных пальцев. Послеполуденное солнце бьёт ему в спину, тень лежит через все ступени, и мне приходится идти прямо по ней.

Он не поворачивает головы. Смотрит на пустой асфальт и говорит мне в спину:

— Бордюр на том же месте. Так, на всякий случай.

Ноги требуют идти дальше, а я зачем-то останавливаюсь. Он запомнил. Мало того, счёл нужным сообщить об этом.

— Я не слепая.

— Правда? А я подумал...

— Я не падала, — бросаю, оборачиваясь.

— Разумеется. — Он стряхивает пепел. — Это было тактическое снижение. Плановая проверка гравитации.

— Это называется «споткнулась».

— Безусловно. Между «споткнулась» и «упала» разницы сантиметров девяносто.

— И ноль травм. Нет травм, нет проблемы. — Я вздёргиваю подбородок.

— Насчёт травм не знаю. — Он наконец переводит взгляд на меня, и в тёмных глазах пляшут бесенята. — А вот левый кроссовок, по-моему, пострадал серьёзно.

Открываю рот и закрываю, потому что крыть нечем. Разворачиваюсь и ухожу, пульс стучит в висках, скулы горят, и солнце тут ни при чём. Сзади тихо, он не окликает и не смеётся, но его взгляд я чувствую между лопаток и несу на себе

до самой остановки.

Квартира встречает тишиной. Привычный ритуал: два оборота ключа и цепочка, потом чайник и чашка с отбитой ручкой. За форточкой разливается майский вечер, светлый, никак не желающий темнеть.

За стеной тяжёлые шаги. Сосед вернулся.

И тут меня прошибает холодом.

YourNeighbor_. Твой сосед. Ник складывается с человеком за стеной так просто, что непонятно, как я не сообразила раньше. А если это не случайный зритель из сети? Если это не случайный зритель из интернета, а тот, кто живёт прямо здесь, тот, чьи шаги я сейчас слышу.

И чьи стоны слушаю по ночам?

Ложусь на кровать не раздеваясь. За стеной шумит вода, потом низко бухает бас, и приложу я ладонь к обоям, поймала бы этот ритм кожей. Не прикладываю. Лежу и жду, и ненавижу себя за это ожидание, за то, что каждый вечер моё тело замирает вот в этой точке между одеялом и стеной, между стыдом и липким пугающим любопытством.

Сегодня он молчит. Только моё сердце колотится на всю комнату. Засыпаю злая, сама не разберу на кого, и последнее, что крутится в голове, это низкий голос: «Бордюр на том же месте. Так, на всякий случай.»

Глава 3. Мила: Записка

Сначала я решаю, что это реклама. Пиццерия, натяжные потолки, провайдеры — их вечно суют под двери. Потом вижу, что лист лежит не как попало, а ровно по центру коврика, не согнут, не помят, чистый принтерный А4. Его не бросили. Его положили. Аккуратно, как подарок.

На листе глаз. Один, нарисованный чёрным маркером с тонким наконечником. Радужка заштрихована мелкими параллельными линиями, зрачок идеально круглый, каждая ресница прорисована отдельно. Над этим сидели. И не пять минут.

Я стою в дверях босая, в трусах и растянутой футболке, с зубной щёткой в руке, потому что вообще-то выглянула проверить доставку, я всегда ставлю галочку «оставить у двери», чтобы не открывать курьеру. Пакеты на месте. И рядом вот это.

Поднимаю лист за уголок, двумя пальцами, как в сериалах про судмедэкспертов, и мне даже не смешно от этого сравнения. Бумага сухая, маркер не мажется, высох давно. Час назад? Ночью? Я спала по ту сторону двери, метрах в четырёх, а кто-то стоял в коридоре и укладывал лист на мой коврик с надписью «Welcome» за сто двадцать рублей из супермаркета.

Закрываюсь: два оборота, цепочка. Прислоняюсь спиной

к двери и стою, пока не замечаю, что зубная щётка мелко стучит о зубы. Это не щётка. Это челюсть.

Набираю Лизу.

— Лиз.

— Ммнхр... — голос из подушки, из другого часового пояса, из жизни, где люди просыпаются чуть раньше — все, кроме Лизы.

— Лиз, подъём.

Шорох одеяла, скрип кровати. Лиза существо ночное, утро для неё насилие над организмом, но есть у меня тон, который она считывает мгновенно, и я слышу, как она садится.

— Что случилось?

— Записка на коврике. Точнее рисунок. Перед дверью. Нарисованный глаз.

Пауза, в которой слышно, как она окончательно просыпается.

— Сфоткай. Прямо сейчас. Чтобы время на телефоне было видно. Фото записки, фото коврика без записки. Если можешь выглянуть в коридор — фото коридора.

— Не буду выглядывать.

— Ладно. Тогда только записку. Мил, слушай меня. Это эскалация. Смотри: сначала чат, это далеко, это интернет, там все смелые. Потом личка. Теперь твой порог. Он каждый раз подходит на шаг ближе и смотрит, что будет. Слышишь?

— Может, это вообще не он. Может, у соседских детей просто появился лишний маркер и много свободного време-

ни.

— Ага. И дети нарисовали глаз и положили его под твою дверь. Мил. Кто ещё?

Крыть нечем. Фотографирую. Первый кадр смазанный, потому что руки трясутся. Второй получше. Отправляю.

— Получила... — Слышно, как она щёлкает по экрану, увеличивает. — Так. Это аккуратный рисунок, не каракуля на коленке. Человек сел за стол, взял нормальный маркер и рисовал. И, поди, думал о тебе, пока рисовал. Потом оделся, доехал до твоего дома, поднялся и положил. Это не порыв, Мил. Это план.

— Перестань.

— Не перестану. Скриншоть всё. Каждое сообщение от YourNeighbor, которое осталось в логах, каждую дату бана. Всё, что найдёшь у двери, фотографируй. Заведи папку.

— Папку?

— Папку. На телефоне. Назови «доки» или «урод», как хочешь, но складывай туда всё с датами. Полиции нужна хронология.

— Лиз, я не пойду в полицию с рисунком глаза. Они решат, что я сумасшедшая.

— Пока нет. Но если будет второй, пойдёшь. Обещаешь?

— Обещаю.

Обещать проще, чем объяснять, почему я в это не верю. Полиция у нас работает по принципу «вот убьют, тогда и приходите», и с рисунком глаза я для них буду не потерпев-

шая, а девочка с богатой фантазией.

Вешаю трубку и завожу папку. Сначала называю «урод», как советовала Лиза, потом назвала «YN», потому что «урод» это слишком. Перекидываю фото, потом лезу в логи площадки: шесть забаненных профилей, и тонна сообщений, от которых по спине бежит холодок.

Они даже не гадкие. Ни одной пошлости, ни одного «покажи лицо». «На третьей песне сбилась с ритма. Волнуешься?» «Новая заставка. Сама рисовала — видно по штриховке. Стала увереннее в тенях». «Сегодня голос мягче. Хороший день?» По форме комплименты, по сути — сводки наблюдения. Чужой человек из интернета различает мою штриховку и следит, стала ли я увереннее в тенях.

Двадцать три скриншота, все с датами, все в папку. Лист с глазом складываю пополам и сую в ящик стола, между конспектом по маркетингу и квитанцией за свет.

В душе выкручиваю горячую до упора и стою, пока кожа не идёт красными пятнами и зеркало не исчезает в пару вместе со мной.

В автобусе ловлю себя на том, что держусь за поручень всей ладонью. Не двумя пальцами, как обычно, всей пятернёй, и брезгливость молчит. Видимо, у страха приоритет выше. Наушники на голове, а музыки нет, забыла включить, поняла это на третьей остановке и включать не стала. Впервые за три года мне важнее слышать, что у меня за спиной.

На остановке выхожу и оглядываюсь, дёргано, по-птичьи.

Толпа как толпа, студенты, никто на меня не смотрит. Вернее, я не вижу, чтобы кто-то смотрел, а это разные вещи. Он же знает мой дом. Значит, однажды шёл за мной, и я его точно так же не увидела.

В полдень сажусь в столовой в угол, спиной к стене. Раньше плюхалась куда придётся. Теперь вот спиной к стене, как в кино про мафию, и от этой маленькой перемены хочется выть: одно дело бояться людей по привычке, оптом, и совсем другое — бояться одного конкретного, у которого нет лица, но есть маркер и мой адрес.

Олег ставит поднос напротив. Он всегда садится напротив, это само собой закрепилось, и я не против: одинокие люди заметнее.

— Латте. — Картонный стакан, ещё тёплый, оказывается передо мной. — Как ты любишь.

— Спасибо, Олег. Ты не обязан каждый раз покупать мне кофе.

— Мне не трудно. — Улыбка у него тёплая, спокойная, из тех, от которых плечи сами опускаются. — Ты бледная сегодня. Всё нормально?

— Не выпалась.

— Семинар по маркетингу? Могу прислать свои заметки, если что. Там нормальный конспект, я вчера до двух сидел.

— Серьёзно? Это было бы... да, спасибо. Реально выручишь.

Олег кивает, несколько секунд возится в телефоне и уби-

рает его.

— Кинул в личку. Посмотри, когда будет время. Там схема по сегментации, я по-своему расписал, может пригодиться.

И это приятно. Правда. Он единственный запоминает, какой я пью кофе, и присылает конспекты, если попросить — хоть в два ночи. Рядом с ним тревога не исчезает, но становится тише, фоном, как вентилятор.

— Ты знаешь, что можешь мне рассказать, если что-то случилось? — Он наклоняется чуть ближе. — Я не полезу с советами и никому не скажу. Просто послушаю.

И я почти рассказываю. Прямо тут, над остывающим латте, про лист, про глаз, про шесть аккаунтов. Слова уже собрались, осталось открыть рот. Но у меня шесть лет стажа в замалчивании, и стаж побеждает.

— Всё нормально, Олег. Правда. Не выпалась просто.

Он кивает и не давит — умеет вовремя отступить, за это я его, наверное, и держусь.

У раздачи грохает поднос, и следом в столовую вваливается смех, густой, на всё помещение.

Поднимаю голову. Компания с парковки рассаживается у окна. Их узнаёшь не по лицам, а по звуку: они занимают столовую, как занимает комнату включённая на полную музыка. Громкий крепкий уже рассказывает, размахивая вилкой, и, судя по жестам, там погоня. Красавчик с зелёного мотоцикла ржёт, запрокинув голову. Блондин в очках, и очки среди

всей этой кожи выглядят как опечатка, читает книгу, подперев её солонкой, и умудряется одновременно есть, причём не выглядит нелепо, вот что обидно. Тихий с блокнотом рисует, не поднимая головы, и его свободная рука между делом отодвигает стакан блондина от края стола. Не глядя. Судя по движению, отодвигает так каждый день.

И он. Заходит последним, ставит поднос, оглядывает стол без улыбки. Громкий наклоняется к нему с очередной тирадой, и он слушает, и один уголок рта приподнимается на миллиметр. Всё, больше в лице ничего не меняется. А у меня между рёбер всё равно неудобно сжимается, и я на всякий случай отворачиваюсь.

— Шумные ребята, — говорит Олег, не поднимая глаз от чая, в котором размешивает сахар. — Держись от таких подальше, Мил. Они... непредсказуемые.

Киваю. А на лестнице после обеда, между вторым и третьим этажом, мысль меня догоняет: он сказал не «опасные». Непредсказуемые. Как будто беда не в том, что они могут сделать, а в том, что заранее не просчитаешь. Странная претензия, если подумать. Я вот не уверена, что непредсказуемость это плохо. Если она без опасности, то, может, даже наоборот.

После пар выхожу на крыльцо. Солнце низкое, тени со ступеней стекла на асфальт, парковка почти пустая. Один мотоцикл остался. Конечно.

Он у перил, с сигаретой, кожанка расстёгнута, стоит так, будто крыльцо это веранда его личного дома, а выходящие — назойливые гости, не достойные и прощания. В этот раз молчит.

Иду мимо. На третьей ступеньке носок находит трещину в бетоне. Тело качается вперёд, рюкзак дёргает плечи. Падать я не собираюсь, центр тяжести уже выкручивает, но в ту долю секунды, пока выравниваюсь, краем глаза цепляю: его рука отделилась от перил. Раскрылась. Большая ладонь, чёрные линии татуировок, белые точки шрамов на костяшках, пальцы растопырены — он готов ловить.

Я выравниваюсь. Рука останавливается, возвращается к перилам, к сигарете, как будто ничего не было.

Но я видела. Он дёрнулся и дал мне справиться самой. Не схватил «на всякий случай», не устроил спектакль со спасением. Просто был готов, и всё.

До остановки несу с собой эту раскрытую ладонь, которая так и не коснулась, и не могу выкинуть её из головы, как привязавшуюся песню.

Вечером стрим, и слава богу: рутина, правила, тысяча человек, стена, которую я сама выстроила и за которой мне спокойно.

— Бамбуковые мои, вечер караоке, правила знаете, — ушки на экране шевелятся, чат бежит, донаты капаят.

Пою. Третья песня, четвёртая, пятая идут нормально, а на

шестой взгляд цепляется за боковую панель.

YourNeighbor__

Два подчёркивания в конце. Седьмой аккаунт за три месяца.

«Сегодня начала на семь минут раньше. Что-то случилось?»

Семь минут. Я запустила эфир в двадцать пятьдесят три вместо девяти, потому что не могла больше сидеть в тишине, потому что лист в ящике жёг сквозь дерево, а голос в микрофоне единственное, что я в этой жизни контролирую. И он засёк. Не «ты сегодня пораньше». Семь минут.

Баню. Скоро будет восьмой, я уже выучила его цикл: он не уходит, он переименовывается. Тот же человек, рубашка та же, пуговиц на одну больше.

Допеваю сет чуть быстрее и чуть выше, чем надо. Из тысячи человек это, наверное, не заметит никто. Или заметит один.

После эфира набираю Лизу, рассказываю про семь минут.

Она молчит, и молчание у неё как провод под напряжением: с виду ровное, но тронь — ударит.

— Нормальный фанат пишет «классный стрим, лайк». Фанат не засекает время. Внимательный — это когда заметил, что ты заставку сменила. А этот засекает. Он как будто не смотрит, а... Мониторит.

— И что ему с этих семи минут?

— Информация. График сбился, значит, в жизни что-то

поменялось. А твой график для него стабильность, такие от чужих перемен нервничают. Или он так обозначил, что знает, как на тебя повлиял рисунок.

Мне холодно от того, как буднично она это раскладывает. Как будто читала методичку.

— Папку ведёшь?

— Веду.

— Умница. Фиксируй.

Гашу мониторы. Комната темнеет.

Перед сном иду проверить замок. Обычно хватает подёргать ручку. Сегодня я приседаю и разглядываю скважину в упор, и врать себе, что просто так, уже не выходит.

Я слышала возню ночью, сквозь сон. Думала, может у соседей, или трубы, или что угодно.

Царапины. Тонкие, лучами от скважины. Похожие я заметила на прошлой неделе и списала на прежних жильцов, что я просто невнимательная, но эти свежие, металл в них блестит. А на полу под замком серебристая пыль, мелкая, я бы в жизни её не разглядела, если бы не стояла на коленях. Только я стою на коленях. Я теперь ищу.

Кто-то совал в скважину тонкий предмет, тоньше ключа, и проворачивал. Не открыл. Пробовал.

Снимаю на телефон царапины, пыль, замок целиком, всё в папку. Время на снимках час сорок семь. Встаю, и ноги держат так себе.

Ложусь. Одеяло до подбородка, пальцы сами находят край

пододеяльника и вцепляются.

За стеной шуршат: матрас, одеяло. Лёг.

Проходит минута, другая, и я уже решаю, что сегодня обойдётся.

Не обходится.

Выдох, тихий, сдавленный. Ещё один, длиннее, с хриплым надломом, от которого у меня по позвоночнику проходит ток. Ритм сначала ленивый, дыхание тяжелеет по чуть-чуть, будто кто-то медленно доворачивает громкость.

Тело включается без меня, ему мои принципы до лампочки: низ живота наливается тёплой тяжестью, между ног мокро сразу, без разгона.

Сегодня к звуку прилагается картинка, которой раньше не было. Раскрытая ладонь. Татуировки, белые шрамы, растопыренные пальцы в воздухе. Рука, которая дёрнулась ловить и вернулась на перила. Я весь день таскала её с собой и вот дотаскала до самой кровати.

Его стон делается длиннее, ритм ускоряется, и мои бёдра начинают качаться в такт. Я их не просила. Миллиметровые движения, трение ткани о ткань, жалкое и злое; руки при этом в одеяле мёртвой хваткой, потому что руки я ещё контролирую, а бёдра уже нет: когда он ускоряется, они ускоряются, когда замирает, замирают. Ненавижу. Не останавливаюсь.

Финал длинный, низкий, с рычанием сквозь сжатые зубы. Короткий отрезок, когда человек за стеной перестаёт се-

бя контролировать, и в этот отрезок у меня сжимается всё, скручивается, как выжимаемая ткань, и я повисаю на самой грани, не дотянув. От этого «не дотянув» хочется ударить стену.

Тишина.

Лежу с открытым ртом и слушаю собственное сердце, оно колотит по рёбрам изнутри.

И тут вибрирует телефон.

Экран режет глаза. Личные сообщения, аккаунт без аватарки, ноль подписчиков.

«Сладких снов, Ками».

Он пишет так после каждого стрима, всегда ночью, всегда когда я уже лежу, будто отсчитывает минуты от конца эфира до погасшего окна. Моего окна.

Скриншот, в папку. Руки трясутся, телефон выскальзывает на одеяло, поднимаю, кладу на тумбочку экраном вниз, как будто это поможет.

Лежу в темноте. За стеной дыхание, ровное, уже сонное. В телефоне слова от человека, который знает мой подъезд, рисует глаза и ковыряет мой замок.

А между этим я. В трусах, которые промокли от чужих стонов, и с сердцем, которое колотится от чужого сообщения.

Глава 4. Рэм: Голос за стеной

Шесть тридцать, без будильника.

Тело поднимается само, заведённый механизм из тех лет, когда проспать утро значило потерять смену, а потерять смену значило не заплатить за общагу. Смены давно нет, общаги нет, а механизм работает: никто не удосужился выключить.

Квартира полупустая, как комната, в которую начали завозить мебель и бросили на полпути. Из мебели кровать, стол и стул. На балконе верстак из профильной трубы, сваренный своими руками, потому что покупные делают криво, и ящик с инструментами. Стены голые: ни постеров, ни фотографий. Не из аскетизма, просто руки не дошли. Обустроиваюсь медленно, покупаю только то, что нужно, в своём порядке. Стены ждут своей очереди.

Кухня — три квадратных метра, которые вмещают плиту, обрубок столешницы и одного человека, если этот человек умеет не поворачиваться. Я умею.

Турка медная, тяжёлая, с деревянной ручкой, потемневшей от десяти тысяч варок. Мамина. Единственная вещь, которую забрал из дома, когда квартира перестала быть моей, потому что после семнадцати без родителей и без документов на жильё «наша квартира» быстро превращается в «чью-то квартиру». Турку сунул в рюкзак. Остальное не поместилось.

Вода, кофе крупного помола, потому что мелкий горчит, два зерна кардамона, раздавленных плоскостью ножа. Турка на маленький огонь. Шапка поднимается — снимаю, даю осесть, возвращаю. Три раза.

Мою турку сразу, в раковине не оставляю, «на потом» не откладываю. Привычка не моя, её. «Тёмка, грязная посуда — это характер. Расскажи мне, что у тебя в раковине, и я расскажу, что у тебя в голове». У меня в раковине пусто, в голове не особо, но турка чистая.

Ей было сорок два. Рак. Полгода от диагноза до конца. Полгода, за которые я узнал, что страх это не когда бьют и не когда голодно. Страх это когда человек, который всегда был больше тебя, превращается в маленький свёрток из одеял.

Не думаю об этом специально. Просто мою турку и не думаю.

В телефоне чат Своры, тридцать четыре непрочитанных. Санёк, три часа ночи. Как обычно.

Санёк: «Братва. Философский вопрос. Кто победит: медведь размером с утку или сто уток суммарным размером с медведя».

Дэн: «Сто уток. Количество решает».

Санёк: «Дэн ты юрист. Где аргументация».

Дэн: «Количество. Решает. Вся аргументация».

Маратик: «Какой смысл в таких маленьких утках».

Санёк: «МАРАТИК ЭТО ГИПОТЕТИЧЕСКИЕ УТКИ».

Маратик: «Гипотеза должна быть внутренне непротиворечивой, иначе обсуждать нечего».

Санёк: «Я тебя когда-нибудь придушу».

Маратик: «Биомеханически сомнительно при твоём хвате».

Лёха: голосовое, 0:02

Кир: «Сто уток. Всё. Спите».

Лёхино голосовое длится две секунды. Открываю. Выдох. Всё. Ноль информации, полная ясность. Лёха человек, для которого изобрели молчание.

Не отвечаю. Пью кофе.

Вечером трасса.

Двигатель добирает на выходе из города, и под рёбрами появляется вибрация. Не от тряски, от оборотов: на двенадцати тысячах байк дрожит совсем не так, как на шести, и эту разницу не объяснишь, её либо чувствуешь, либо нет.

Наклон вправо. Колено висит сантиметрах в двадцати от асфальта, мир схлопывается до пятна фары и белой полосы разметки, летящей под колесо. В повороте думать нечем и не о чем, есть угол, скорость и сцепление, тело срастается с машиной, и это единственное место, где мне не надо думать. Поэтому и езжу.

В зеркале пять пар фар. Мои.

Санёк догоняет первым, Санёк физически не умеет ехать сзади, как не умеет молчать. Пристраивается слева и орёт в шлем, но ветер съедает всё до последнего слога. Показываю

ему кулак. Он в ответ складывает из ладоней сердце, обеими руками, на секунду бросив руль. Идиот. Мой идиот.

Дэн идёт красиво, тут ничего не попишешь. Зелёный байк входит в поворот без единого лишнего градуса, без рывка, ровно, как по лекалу. Дэн вообще всё делает с уверенностью человека, у которого мир лежит на ладони, и ладонь подходящего размера.

Маратик ускоряется без объявления войны. Ни перегазовки, ни движения в посадке, просто белый мотоцикл исчезает из зеркала и через секунду обнаруживается впереди, далеко, и Санёк за спиной издаёт звук, для которого пока не придумали букв. Маратик ездит так же, как дерётся: чисто, с ускорением, от которого у остальных немеют руки. Потом сбрасывает и как ни в чём не бывало встаёт обратно в строй. Очкарик с книгой под подушкой и чаем вместо пива, а разгон такой, что мы каждый раз офигеваем, хотя двести на спидометре видели все.

Лёха замыкает. Как всегда. Не потому что медленный, а потому что сзади видно всех: если кто-то отстанет или ляжет, Лёха заметит первым. Он это правилом не объявлял. Просто всегда сзади, и всё.

Кир обгоняет всех по встречке, на прямом куске, где это в принципе можно, но в районе желудка всё равно поджимается. Чёрно-синий мелькает мимо, средний палец на вытянутой руке, лица за визором не видно, но я и так знаю какое: каменное и страшно довольное. Восемнадцать лет. Предпо-

следний класс.

Догоняю его за километр, обхожу, сбрасываю, напоминаю, кто здесь решает порядок. Он пристраивается рядом, и дальше идём бок о бок.

В гараже пахнет маслом и бетоном. Продавленный диван, на стене телек, плоский, но далеко не новый, к нему тянется кабель от ноутбука Санька, живой на изоленте и честном слове. Санёк уже развалился на диване вверх ногами и листает видео, телефон в одной руке, чипсы в другой.

Дальше неизбежный спор.

— Мой плейлист. — Санёк тянется к ноутбуку.

— Если я увижу ещё один рейв-сет из две тысячи девятнадцатого, я подам на развод, — Дэн.

— Мы не женаты.

— Тем проще.

— Концерт Кисина, — Маратик, не отрываясь от книги, — Шопен. Ноктюрн до-диез минор. Есть запись из Карнеги-холла.

Три головы поворачиваются к нему.

— Маратик, — Санёк включает интонацию воспитателя в старшей группе, — мы с трассы. Адреналин, скорость, кровь кипит. А ты предлагаешь Шопена.

— Шопен — не только похоронные марши.

— Но лицо у него на каждом портрете такое, что разницы нет.

Кир встаёт, молча пересекает гараж и забирает у Санька

ноутбук; Санёк открывает рот, ловит взгляд Кира и закрывает. Кир что-то набирает в поиска и на телеке появляется запись стрима. Аниме-аватар с ушками и дерзкой ухмылкой, ник КамиПанда, нарезка лучших моментов. Голос нахальный, яркий, с хрипотцой.

— Опять Панда. — Дэн откидывается на диване и закрывает лицо ладонью, изображая страдание. — Кир, мы это обсуждали. У неё даже лица нет. Буквально. Пиксели и ушки.

Кир не оборачивается. Стоит у стены, руки в карманах, подбородок чуть опущен, но не от смущения, а так, как опускают подбородок перед тем, как врезать.

— Нормально, — говорит он, и одного этого слова хватает, чтобы Дэн убрал ладонь с лица и посмотрел на него, потому что Кир произносит «нормально» так, как другие произносят «попробуй скажи ещё раз».

Дэн пробует:

— Ты фанатеешь от рисованной девчонки. Осознаёшь?

Кир медленно поворачивает голову и смотрит тем тяжёлым тёмным взглядом, от которого одноклассники отводят глаза. Дэн, в общем-то, не одноклассник, но и он выдерживает недолго.

— И?

— И... ничего. — Дэн поднимает обе руки. — Прекрасный выбор. Всецело поддерживаю. Шопен нервно курит.

На экране Панда поёт медленно, с хрипотцой, которая не вяжется с нарисованными ушками. Голос тащит мелодию

вниз, в грудной регистр, и там, на самом дне, ломается, не фальшиво, а будто нарочно, будто трещина в голосе была задумана.

Сажу на корточках у мотоцикла и протираю обод ветошью, руки заняты привычным делом, а ухо цепляется за голос с экрана, и я не могу понять, за что именно. Не за песню, за манеру: как она растягивает гласные на концах фраз, будто не хочет отпускать слово, как хрипотца появляется не на верхних нотах, где ей положено, а на нижних.

Мысль мелькает и уходит, не успев оформиться в слова. Не ловлю. Мало ли красивых голосов.

— Голос хороший, — замечает Маратик, не поднимая глаз от книги. Переворачивает страницу, находит нужную строчку, продолжает читать. — Чистое интонирование на переходных нотах. Редкость для непрофессионала.

— Маратик. — Санёк смотрит на него с дивана. — Просто скажи «круто поёт».

— Круто поёт.

— Видишь? Не больно же.

Кир стоит у стены. Лицо ничего не выдаёт, но пальцы в кармане джинсов двигаются, отбивая ритм, и это видно сквозь ткань. Мелкое мальчишеское баловство, спрятанное так глубоко, что он, наверное, сам не замечает.

Лёха сидит на полу спиной к дивану со скетчбуком на коленях и рисует, не поднимая головы. Что там, не видно, и спрашивать бесполезно: Лёха показывает, когда хочет, а хо-

чет редко.

Санёк переключает на следующее видео, нарезку моментов со стримов, чей-то монтаж. Панда шутит, отшивает кого-то в чате, смеётся. Голос другой, быстрый и звонкий, с дерзостью, за которой слышно удовольствие от собственной наглости.

— Ладно, — сдаётся Дэн, — ладно, я понял. У неё рот не закрывается. Мне нравится.

— Ты говоришь это про каждую, — замечает Санёк.

— Потому что это универсальный комплимент.

— Это вообще не комплимент.

— Зависит от контекста.

Маратик закрывает книгу и смотрит на Дэна так, как врач смотрит на рентгеновский снимок.

— Дэн, ты когда-нибудь задумывался, почему у тебя ни одни отношения не длились дольше двух недель?

— Потому что я щедрый. Такое сокровище не может принадлежать одному человеку.

— Ты путаешь щедрость с ЧСВ и дефицитом внимания.

— Тебе ли читать мне мораль, товарищ Шопенгауэр?

Разъезжаемся поздно. Город пустой, фонари, мокрый асфальт. Еду на автопилоте, голова так и осталась на трассе, в том повороте, где всё просто.

Дома за стеной голос. Соседка. Я её ни разу не видел и не факт, что узнал бы в лифте: графики не совпадают, а специально знакомиться с соседями — досуг для особенных лю-

дей. Мне от человека за стеной нужно одно, чтобы он не долбил перфоратором в полночь. Она не долбит. Она разговаривает, часами, громко и быстро, со смехом, который прорывается на полуслове и тут же обрывается. По телефону, наверное, может, в голосовом чате: то громче, то тише, то хохот, и между всем этим стучат клавиши.

Иногда посреди фразы вдруг строчка из песни, секунды на две, и обратно к разговору. Видимо, сама не замечает, что поёт.

Ставлю чайник и жду у столешницы. За стеной очередной взрыв смеха, со всхлипом на конце, заразный даже через гипсокартон. Ловлю себя на том, что пальцы стучат по столешнице в такт её перепадам, из смеха в речь и обратно в мелодию.

Так. Убираю руку, наливаю чай.

Голос за стеной стихает, устала или договорила. Допиваю, мою кружку, иду в душ.

Ночь.

Обычная ночь, обычная полупустая квартира, таких в этой новостройке сотни.

За стеной начинается пение. Тихое, без слов, мычание себе под нос. Она так засыпает, каждый вечер: мелодия крутится по кругу, медленнее, тише, и обрывается на середине такта. Всё, уснула. Я этот момент уже выучил и, что глупо, каждый раз его жду.

Рука сама поднимается и ложится на стену, плашмя, всей ладонью.

За стеной ровно дышат.

И квартира от этого перестаёт быть пустой. Там, в десяти сантиметрах, живой человек, только что пел, теперь спит. Открытие уровня детского сада: в любой многоэтажке за любой стеной кто-то дышит. В общежитии за стенами четыре года дышали, храпели, трахались, орали в два ночи и варили доширак в четыре. И ни разу мне не хотелось положить ладонь на стену.

Засыпаю. Последнее, что помню: рука на месте. И мне не хочется её убирать. И не понимаю почему.

Плейлист к книге

Animal Impulses— IAMX

Personal Bias— Ghost Weather

Wonderwall - Remastered— Oasis

Move Slow— One True God

MORE.— MoonFi

Candy Shop— Blvck Cobrv

Figure You Out— VOILÀ

Play with Fire (feat. Yacht Money)— Sam Tinnesz, Yacht Money

HAUNTED— Isabel LaRosa

Dirty Thoughts— Chloe Adams

HEARTBEAT— Isabel LaRosa

Scream My Name— Thomas LaRosa

NEVER EVER— Omido

Don't Play— Rumelis, Mandrazo

Worship— Ari Abdul

Taste— Ari Abdul

love me— Ex Habit

Outta my head— Omido, Rick Jansen, Ordell

Taste of the Divine— Shaker, Azee, COBRA

wet dreams— Artemas

Nightcall— Kavinsky

Acid Rain— Lorn

Love Is a Bitch— Two Feet

Knee Socks— Arctic Monkeys

High For This— The Weeknd

4ÆM— Grimes

The Perfect Girl— Mareux

Iron— Woodkid

Hellifornia— Gesaffelstein

CtrlAltDelete— BONES

Make Me Famous— Kim Dracula

Humans Are Such Easy Prey— Perturbator

Change (In the House of Flies) - Acoustic; 2005 Remaster—
Deftones

The Epilogue— ††† (Crosses)

adaptive strike— shadowraze, LXNER, quiizzzzmeow

человеку нужен человек— Cold Carti

Отпускай— Три дня дождя

Three Steps Ahead— Jared Benjamin

Drag Me Down— Jared Benjamin

КАПЛИ— Saùdion, GATASKI

Should I Stay or Should I Go - Remastered— The Clash

Storm— azZza

Глава 5. Мила: Невыносимый

Кофе сегодня из автомата на остановке, мутный американо в тонком картоне. Олега с его стаканчиками поблизости нет, а я после трёх часов сна, веки держатся на кофеине и упрямстве, причём кофеина пока ноль. Автомат хрипит, отплёвывается, но дозу напитка выдаёт. Иду к корпусу, грея пальцы о стакан.

Утро наглое, майское, солнце лупит прямо в глаза. Щурюсь, наушники на шее, рюкзак на одном плече. Обычный маршрут: остановка, парковка, крыльцо.

Рёв прилетает слева, из-за поворота, нарастает и отдаётся в грудной клетке и в асфальте под подошвами. Чёрно-красный байк влетает на парковку на скорости, которая на территории кампуса кажется безумием, шина взвизгивает, байк встаёт в ряд к своим, и горячая бензиновая волна воздуха бьёт мне в бок.

Стакан дёргается. Дешёвая крышка соскакивает, кофе выплёскивается на руку, на куртку, на левый кроссовок. Горячо. Не ожог, но достаточно, чтобы отдёрнуть руку и высказаться вслух, посреди парковки, в семь пятьдесят три утра.

— Бл...

Обрываю себя на половине. Оглядываюсь: слышал?

Он у байка, стягивает шлем. Волосы примяты, под растёгнутой кожанкой чёрная футболка. В мою сторону не

смотрит вообще: вешает шлем на зеркало, ерошит волосы одним движением, достаёт сигарету. Не заметил. Или заметил и решил, что я не стою поворота головы, и второй вариант злит куда крепче первого.

Стою и смотрю на коричневое пятно, расплзающееся по куртке, и злости во мне столько, что самой странно. Дело ведь не в кофе: три часа сна, глаз в ящике стола, царапины на замке. И вишенкой мужик в десяти метрах, который закуривает с видом человека, который не должен этому миру ни копейки.

Бросаю стакан в урну. По дороге в корпус трясую рукой как наступивший на скотч кот лапой.

На паре Олег, как всегда, рядом, и на парте уже ждёт латте, тёплый, карамельный.

— Мил, это что, кофе? — кивает на пятно.

— Разлила.

— Руки не обожгла?

— Нет. Но без убойной дозы сахара и кофеина точно вырубилась бы. Спасибо, ты меня спасаешь, честно.

Он улыбается, и тревога рядом с ним привычно приглушается, как звук за закрытой дверью.

Дальше день катится: второй семинар, третий, обед. Олег по дороге рассказывает про стажировку в отеле на побережье, четыре звезды, два месяца, «представляешь, Мил, они и платят, и жильё дают, скинуть тебе ссылку?». Киваю, слушаю вполуха. С Олегом можно вполуха, он не обижается и

не требует полного внимания, заполняет паузы ровно и мягко, как музыка в лифте.

После обеда сажусь в библиотеке. План простой: четыре часа тишины, розетка и недописанный конспект по управлению качеством, потому что единственный известный мне способ не думать про глаз и замок — завалить голову таким занудством, чтобы панике не хватило места. Стандарты работы с жалобами гостей. Эмпатия как инструмент деэскалации конфликта. То, что нужно. Об этом даже думать скучно.

Библиотека после обеда полупустая. Зелёные абажуры, стеллажи с учебниками, которые никто никогда не брал, тот особый покой, который бывает только там, где молчат по правилам. Сажусь у окна, втыкаю зарядку, открываю ноутбук.

Абзац. Второй идёт легче. Пальцы стучат, курсор ползёт, и голова понемногу стихает, как заглушённый двигатель: по инерции, не сразу, но обороты падают.

Скрип стула.

Через два стола он. Рюкзак на пол, кожанка на спинку, из рюкзака ноутбук, серый, затёртый, с наклейкой, которую отсюда не разобрать. Сел, печатает.

Ладно. Два стола, это метра четыре. Четыре метра — это расстояние, на котором чужое присутствие можно игнорировать. Я умею игнорировать. Три года тренировок.

Печатаю дальше и не смотрю. Эмпатия, деэскалация, жалобы гостей.

Движение на периферии. Он встал. Взял ноутбук. И идёт не к выходу и не к дальнему столу. Ко мне. Садится через один стул, втыкает зарядку в розетку под столешницей, в полуметре от моей ноги.

— Тут розетка рабочая, — сообщает он таким тоном, будто это исчерпывающее объяснение и других не требуется.

Молча отъезжаю со стулом на полметра. Ноль реакции. Печатает, быстро и уверенно, и его стук перекрывает мой, медленный и вязкий.

От него тянет бензином, нагретым металлом, трассой, и деваться некуда: я уже отодвинулась один раз, отодвинуться второй значит признать, что он мне мешает, а это уже проигрыш.

Не дождётся.

Возвращаюсь в экран, к эмпатии и деэскалации.

Глаза сползают вправо сами, я узнаю об этом постфактум. Его руки на клавиатуре. Татуировки от закатанных рукавов до пальцев, плотный графичный узор. Костяшки в мелких белых шрамах, как от инструмента или горячего металла. Вены на предплечьях шевелятся под кожей на каждом нажатии.

Смотрю. Дольше, чем можно оправдать хоть чем-нибудь.

— Если будешь так громко думать, нас выгонят, — говорит он, не поворачивая головы.

— Я не думаю, — вырывается у меня раньше, чем успеваю сообразить, что вообще несу.

— Заметно. У тебя курсор стоит на одном месте уже минут десять.

Поворачиваю голову. Он сидит через стул и смотрит вроде бы в свой экран, но взгляд направлен не в центр монитора, а левее. В мою сторону. Он читает мой экран периферийным зрением, вот наглость.

— Ты читаешь мой экран?

— У тебя шестнадцатый шрифт. Не читать сложнее.

Шестнадцатый, потому что к вечеру устают глаза. Не обязана оправдываться. Даже мысленно.

— Можно отвернуться.

— Можно. Но тогда я не узнаю, что ты за всё время написала полтора абзаца про эмпатию и застряла. — Он наконец поворачивается, и в тёмных глазах тот ленивый прищур, при котором не разберёшь, издевается или ему правда интересно. — Эмпатия — сложная тема?

— Для тебя, видимо, непосильная.

— Видимо. Я же сел рядом, не спросив. Антиэмпатия в чистом виде.

Он ещё и самокритичный. Прекрасно. Теперь на него даже злиться неудобно.

— Я думала, ты сел к розетке.

— К розетке, — повторяет он, и уголок рта ползёт вверх. — Которая оказалась рядом с девушкой, у которой двенадцать слов в минуту и привычка вздыхать на каждом удалении. Не самый тихий сосед по столу, если честно.

— Я не вздыхаю.

— Три раза за последние пять минут. Первый, когда стёрла предложение. Второй, когда начала то же предложение заново. Третий только что, когда я это сказал.

Открываю рот, и он не ждёт, пока я его закрою:

— И печатаешь ты не двенадцать, я преувеличил. Точнее преуменьшил. Скорее пятнадцать. Но с такими паузами между словами средняя падает.

— Ты засекал мою скорость печати?

— Мне скучно. Ты развлечение.

Вот это слово и прилетает точно в цель. Развлечение. Даже не обидно, злит, причём злость конкретная, адресная.

— Рада, что моя работа тебя забавляет. Может, станцевать? Или хватит того, что я дышу в полуметре?

Он смотрит на меня, и ухмылка сходит, не разом, а медленно, как темнеет вечером. Под ней оказывается другое лицо, без иронии, без прищура. Внимательное. И глаза смотрят не мимо, не сквозь, а на меня.

— Достаточно, — говорит он.

И что мне с этим делать. Это не подкол, подколы у него звучат иначе. Голос тот же, ровный, но без ухмылки слово весит по-другому, будто он ответил не мне, а себе, и сам от ответа не в восторге.

За стеллажом кто-то кашляет. Лампа гудит. До меня доходит, что пора уходить, секунд на десять позже, чем следовало.

Сгребаю ноутбук с зарядкой в охапку, хватаю рюкзак, встаю, стул мерзко скрипит по полу.

— Ты всегда такой? — спрашиваю уже стоя, и голос не подводит, хотя внутри всё ходуном.

— Какой?

— Невыносимый.

— Только по будням. По выходным терпимый. Иногда даже приятный. Но это не точно.

Фыркаю. Вслух. Сама слышу этот звук, короткий, предательский. Я фыркнула на его шутку. При нём. Поздравляю, Камилла.

Иду к двери, быстро.

— Розеток тут штук восемь, — бросаю через плечо, потому что последнее слово должно остаться за мной. — Садиться сюда было необязательно.

— Девять. Есть еще одинокая, за вторым стеллажом слева, ты пропустила.

Ещё шаг.

— Но там скучно.

Останавливаюсь. Не оборачиваюсь.

Там скучно. Выходит, здесь ему не скучно. Здесь у него полтора абзаца про эмпатию, вздохи на каждом удалении и девушка со скоростью печати пятнадцать слов в минуту.

Хочется развернуться и выдать что-нибудь ледяное, чтобы вернуть мир в исходное положение. Только в горле стоит комок, а в голове это его «достаточно» без ухмылки, и оно

никак не клеится со «скучно». Два слова от одного человека, и я не могу решить, который из них настоящий: тот, что хронометрирует мою печать от скуки, или тот, у которого на мгновение не оказалось ни одной маски.

Выхожу. В коридоре прислоняюсь к стене и стою, пока не выравнивается дыхание и не отпускает пульс в горле. Скулы горят, уши тоже. А глубоко внизу, в месте, которое я отказываюсь называть, тянет. Не больно. Тепло. И вот это тепло бесит меня больше всего остального.

Вечером звоню Лизе. Собиралась не звонить, но она пишет «как день», и меня прорывает, минуты на две.

— ...и он пересел! К моему столу. Через один стул. «Тут розетка рабочая», будто там одна розетка на всю библиотеку и он нашёл последнюю, а их девять, Лиз, я потом посчитала, и он тоже считал, представляешь, и...

— Мил.

— ...и он видел, что я смотрела на него, и сказал об этом в лицо, с каменной рожей, будто так и...

— Мил.

— Что?

— Ты трижды сказала «невыносимый» и дважды описала его руки.

Тишина. Слышно, как Лиза пьёт, ставит кружку.

— Его руки были у меня перед носом, Лиз. Он печатал. Я случайно...

— Случайно это моргнула не туда. А ты рассмотрела, оце-

нила и запомнила. Шрамы вон на костяшках перечислила.

— Он меня бесит.

— Ты его знаешь пару дней. Если он так вывел тебя за пару дней, то он либо враг, либо...

— Он враг.

— ...либо проблема. Угу.

Это её «угу» я ненавижу. Два звука, а внутри целый диагноз, который она не озвучивает, потому что знает: озвучит — брошу трубку.

— Лиз, он мне кроссовок кофе облил. Ну, не он лично, он мимо промчался на байке, и я... Неважно. Он читал мой конспект. Кто вообще так делает?

— Тот, кому интересно, чем ты занимаешься.

— Тот, у кого беда с границами.

— Одно другому не мешает.

Мы обе замолкаем. Тысяча километров между нами, и в этой тишине висит то, что я вслух не скажу: «бесит» это затычка. Слово, которым я затыкаю дыру, а в дыру лезет то, чего я себе не разрешаю.

— Всё, спать, — говорю.

— Мил.

— Что?

— Папку веди. Про уроды. Это важнее, чем руки невыносимого.

— Знаю.

— Знаешь. А думаешь не о том.

— Спокойной ночи, Лиз.

— Спокойной ночи, Мил.

Ложусь, одеяло до подбородка.

За стеной всё по расписанию: шаги, вода, потом бас через гипсокартон, от которого еле заметно вибрирует матрас. Бас смолкает. Шорох, скрип. Лёг.

Жду. И противно, что жду.

Дыхание начинается через пару минут, тяжёлое, узнаваемое с первого выдоха, и тело откликается сразу, без спроса, ему мои принципы до лампочки. Низ живота тяжелеет, между ног мокро, а я ведь даже не пошевелилась.

Только сегодня у звуков за стеной появились подробности. Не лицо, руки: клавиатура, вены на предплечьях, шрамы, футболка, которая натянулась на груди, когда он откинулся на стуле, ухмылка одним уголком. Весь дневной улов, который я не сумела выбросить.

Рука ныряет под резинку раньше любых решений, пальцы попадают в мокрое, и я закусываю подушку. Старая страховка от звука.

Двигаюсь в его ритме. Ускоряется он, ускоряюсь я. Замирает, и я замираю. Это не секс и даже не мастурбация в честном смысле слова, это дурацкий отчаянный танец через стену: он ведёт и не знает, что ведёт, а я иду следом и ненавижу себя за каждое движение.

Кончаю быстро, резко, аж больно: бёдра сводит, спину выгибает, из горла выталкивается сдавленный выдох в подуш-

ку, сквозь стиснутые зубы.

Но стены здесь десять сантиметров.

И за стеной становится тихо. Совсем. Его ритм обрывается на середине, и в этой тишине моё дыхание грохочет, как поезд. Что если он услышал? Что если он лежит там и знает, что кто-то здесь слышал его?

Не дышу. Сердце лупит так, что, кажется, слышно и его.

За стеной ничего. Он не продолжил и не шевелится, просто тишина, будто мы оба замерли по свои стороны стены и ждём, кто издаст звук первым.

Натягиваю одеяло, сворачиваюсь в клубок. Трусы мокрые, простыня сбита, на подушке вмятина от зубов.

Двадцать лет. Ни одного поцелуя. Ни одного мужчины ближе вытянутой руки. КамиПанда флиртует с чатом на тысячу человек, отшивает фанатов, поёт так, что у чужих людей мурашки. А Камилла лежит в темноте, мокрая и злая, и вся её близость с женщиной — ворованное дыхание через картонную стену, без лица и без имени.

Закрываю глаза.

В голове его голос. Не тот, что за стеной. Тот, что из библиотеки.

«Только по будням. По выходным терпимый. Иногда даже приятный. Но это не точно».

И уже на грани сна, где мысли расплываются, до меня доходит, что самое страшное не то, что я кончила под чужие стоны. Самое страшное, что с закрытыми глазами я видела

не безликого соседа. Я видела руки. Конкретные. Татуированные. С белыми шрамами на костяшках.

Засыпаю злая. С нитками пододеяльника под ногтями и привкусом наволочки на зубах.

Глава 6. Рэм: Двигатель

Столовая в полдень пахнет разваренной гречкой и котлетами, которые здесь зачем-то называют «домашними», хотя ни одна нормальная мать не признала бы это родство даже под присягой. Свора занимает угловой стол у окна, и это место давно перестало быть предметом переговоров. Остальные студенты обтекают его, как река обтекает валуны, не из страха, а по привычке: пять парней, которые едят громко, смеются громче и занимают пространство целиком, отбивают аппетит у тех, кто привык обедать в тишине.

Санёк уже разложился с двумя подносами: второй «для Маратика, он опаздывает, а я забочусь о близких», и рассказывает, размахивая вилкой, на которую нанизана сосиска, с энтузиазмом дирижёра, получившего в руки не палочку, а тупое оружие. Дэн слушает с выражением снисходительного терпения, которое он, видимо, репетировал перед зеркалом, потому что оно у него идеальное: голова чуть набок, бровь приподнята, уголок рта на грани улыбки и приговора. Маратик пришёл вовремя, несмотря на прогноз Санька, забрал свой поднос, сказал «спасибо» и раскрыл книгу, подперев её стаканом с чаем. Сегодня Камю, если судить по блёклой обложке, хотя я постоянно путаю его с Сартром, и Маратик терпеливо объясняет разницу, а я каждый раз забываю. Этот цикл повторяется третий год с неизменным постоянством.

Лёха сидит с краю, скетчбук на коленях, карандаш в пальцах, голова опущена, в своём обычном режиме молчаливого присутствия, когда он вроде бы здесь, с нами, но одновременно в собственном пространстве, куда пускают только по приглашению.

— Братва, — Санёк указывает вилкой в сторону раздачи, — объективная оценка персоны. Кассирша в синем фартуке. По десятибалке.

— Ты оцениваешь кассиршу столовой по десятибалльной шкале. — Маратик не поднимает глаз от книги. Голос у него при этом совершенно нейтральный, как у метеоролога, констатирующего наличие осадков.

— Это демократический процесс, Маратик. Я выношу на голосование.

— Голосование предполагает добровольность. Я воздерживаюсь.

— Воздержание это тоже голос. Записываю: Маратик ноль. Бессердечный.

Дэн разворачивается на стуле, окидывает кассиршу взглядом с таким профессиональным хладнокровием, будто оценивает лошадь на аукционе, и разворачивается обратно.

— Шесть с половиной. В хорошем освещении семь. Но освещение в столовой преступление против эстетики, так что шесть.

— Дэн, — Маратик переворачивает страницу, — ты понимаешь, что она живой человек, а не экспонат?

— Я же сказал «шесть с половиной». Это уважительная оценка. Я щедрый.

Лёха поднимает голову от скетчбука, смотрит на обоих, опускает голову обратно. Весь его комментарий укладывается в микродвижение бровей, но мы давно научились это читать: «Идиоты, но мои».

Я не слушаю. Точнее, слушаю, как слушают привычный фон: радио на кухне, шум вентилятора. Свора работает на частоте, которую я принимаю постоянно, фоновым каналом, даже когда голова занята другим. А голова занята другим, потому что мои глаза в очередной раз делают то, чего я им не разрешал.

Она сидит через три стола. Угол, спиной к стене, и я фиксирую это снова, потому что раньше она садилась где попало, а теперь выбирает позицию, как человек, который начал думать о том, что у него за спиной. Серая куртка, хвост, наушники на шее. Перед ней поднос, почти нетронутый, и картонный стакан с поднимающимся паром. Конечно же, кофе от мягкого парня, который сидит напротив и о чём-то негромко рассказывает, наклонившись чуть ближе, чем требует шум столовой, с мягкой улыбкой, которая у него будто нарисована перманентным маркером.

Она кивает. Не смеётся, не поднимает подбородка, не огрызается. Просто кивает, вежливо, тихо, как студентка на скучной лекции. И это не та девушка, которую я видел вчера в библиотеке, которая фыркнула на мою шутку с такой

яростной непроизвольностью, что у неё покраснели уши, которая сказала «невыносимый» голосом, заряженным так, что хватило бы на небольшой пожар. Та горела. Эта потушена. Будто кто-то повернул регулятор громкости до минимума, и она сидит на этом минимуме, послушная и удобная, и с мягким парнем это работает, потому что мягким парням удобные девочки нравятся больше всего на свете.

Его рука ложится на её запястье. Легко, на секунду, и убивается. Она не отдёргивает.

— Рэм.

Маратик. Смотрит поверх очков, книга раскрыта на коленях, и в его взгляде аналитическая тишина, от которой у большинства людей начинается лёгкий дискомфорт, потому что Маратик смотрит не на тебя, а в тебя, и делает это совершенно невозможно.

— Это ведь она сказала «невыносимый». Я слышал вчера, у библиотеки.

Лицо у меня не меняется. Я давно живу за ним, как за стеной, и стена эта намного надёжнее, чем гипсокартон в моей квартире.

— И?

— Ничего. Просто.

Лёха поднимает голову. Его глаза находят мои, и уголок рта дрогнул, крошечное, почти незаметное движение вверх, но Лёха улыбается так редко, что каждый случай хочется занести в каталог. Он видит. Лёха видит всё, просто предпочи-

тает хранить это при себе, не из жадности, а из понимания, что не всё нужно доставать.

Санёк, который улавливает чужие микродвижения в радиусе десяти метров, как летучая мышь ультразвук:

— Подождите. Рэм на кого-то смотрит? Рэм? Наш Рэм? Тот Рэм, который отшил длинноногую блондинку ямой на садовой?

— Я ни на кого не смотрю.

— Ты не смотришь в её сторону целую минуту. Это самый красноречивый отвод глаз, который я видел в своей жизни.

Дэн разворачивается, даже не пытаясь изобразить скрытность, и оглядывает столовую тем оценивающим взглядом, которым он, вероятно, осматривал бы место преступления, если бы юрфак довёл его до практики:

— Серая куртка, угол? Мелкая. Глаза большие. Не мой формат, но потенциал есть. Объективно крепкая семь. Субъективно зависит от голоса.

— Дэн, ты только что сказал «не мой формат» про живую девушку. — Маратик устало массирует переносицу.

— Я структурирую впечатления.

— Это объективация, обёрнутая в псевдоинтеллектуальную обёртку.

— Маратик, тебе когда-нибудь говорили, что с тобой невозможно просто поговорить за обедом?

— Регулярно. Обычно те, кто оценивает кассирш и ни о чём не подозревающих девушек по десятибалльной шкале.

Маратик закрывает книгу, снимает очки, протирает их краем свитера, жест, который я видел тысячу раз и который у него означает «я сказал достаточно, дальше ваши проблемы».

Я встаю. Беру поднос. Молча несу к раздаче, потому что если останусь за столом ещё минуту, Санёк сделает из моего молчания биографический фильм с закадровым комментарием.

За спиной шёпот, который слышно на всю столовую, потому что у Санька понятие «шёпот» включает децибелы, при которых нормальные люди общаются в полный голос:

— Пятьсот рублей, до конца месяца он с ней заговорит нормально.

Дэн:

— Тысяча, она его пошлёт.

Маратик:

— Она сказала «невыносимый». Это «нет» на вежливом.

Санёк:

— «Невыносимый» — это не «нет», Маратик. Это «я тебя заметила, и мне от этого некомфортно». Совершенно другая категория.

Дэн хлопает Санька по плечу. Лёха переворачивает страницу скетчбука и продолжает рисовать.

Не оглядываюсь.

Мастерская занимает бокс на промзоне, зажатый между

двумя автосервисами и магазином сантехники, который закрыт так давно, что его вывеска выгорела до белизны и теперь читается как послание из другой эпохи. Аренда — двенадцать тысяч в месяц, и за эти деньги я получаю бетонные стены, крышу, которая течёт в одном месте у дальней стены, и пространство, в котором могу работать, не объясняя никому, что именно делаю и зачем.

Руки на металле. Голова пустая.

Это единственное место, где голова пустая по-настоящему, без усилия, без той сознательной работы по «отключению», которую рекомендуют психологи в роликах. Мне не нужно отключаться, когда я работаю с металлом, потому что металл забирает всё внимание целиком, не оставляет щели, в которую может просочиться лишнее. Заготовка в тисках, маркер, линия, горелка. Голубое пламя шипит, запах горячей стали заполняет бокс, и температура цвета (вишнёвый, значит шестьсот градусов, значит пора) — единственное, о чём я думаю. Потому что если буду думать о другом, пережгу, и заготовка станет хрупкой, а хрупкий кронштейн на мотоцикле — это кофр, который срывается на скорости. Недопустимо.

Откладываю горелку. Рычаг. Давление на выдохе, и металл подаётся, сгибается, принимает форму, и этот момент, когда жёсткое становится податливым, когда из бесформенного рождается точность, ради него я здесь. Ради честности

процесса. Металл не притворяется и не кивает с вежливой улыбкой. Он либо гнётся, либо ломается. Вариантов между нет.

Проверяю угольником. Полтора миллиметра.

Мою руки хозяйственным мылом, единственным, которое берёт металлическую пыль и запах горелого. Пальцы в свежих мелких ожогах, пульсирующих, привычных, в четырёх-летних белых шрамах от инструментов и горячего металла. Руки давно перестали выглядеть как руки двадцатидвухлетнего парня, скорее — как человека, который зарабатывает ими на жизнь.

Руки, на которые она смотрела в библиотеке. Дольше, чем смотрят на чужую клавиатуру. Гораздо дольше.

Стоп.

Закрываю кран. Вытираю руки ветошью. Перехожу к полировке байка, не по заказу, а для себя, потому что мелкая царапина на левом обтекателе, прилетевшая камнем на трассе позавчера, раздражает меня так, как может раздражать только дефект на вещи, которую ты любишь. А байк я люблю, без оговорок, без сложностей, без необходимости что-либо объяснять. Два платежа держат жизнь в структуре: ипотека и байк. Всё остальное вокруг них.

Абразив, полироль, микрофибра. Круговые движения, минимальное давление, лак тонкий, я наносил его сам, три слоя прошлой зимой, и обращаюсь с ним соответственно. Царапина уходит медленно, слой за слоем, и красный снова

становится глубоким, масляным, живым.

Телефон вибрирует. Чат.

Санёк: «Братва. Лук в шаурме. Крупная нарезка или мелкая. Это важно».

Дэн: «Мелкая. Даже не обсуждается».

Санёк: «Мелкая это каша. Теряется текстура».

Дэн: «Текстура лука. Попробуй с серьезным лицом произнести это вслух».

Маратик: «Зависит от обработки. Маринованный крупно, чтобы сохранить кислотность и хруст. Сырой мелко, иначе забьёт остальные вкусы. Жареный средне, для карамелизации нужна поверхность контакта».

Санёк: «МАРАТИК. Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ. НАКОНЕЦ КТО-ТО РАЗУМНЫЙ».

Дэн: «Он вставил слово «карамелизация» в разговор о шаурме».

Маратик: «Карамелизация химический процесс. Шаурма кулинарный продукт. Химия и кулинария связаны напрямую. Я не понимаю, в чём проблема».

Санёк: «ПРОБЛЕМА В ТОМ ЧТО ТЫ ПРЕКРАСЕН А ДЭН НЕТ».

Лёха: голосовое, 0:03.

Открываю. Три секунды звука жевания. Лёха ест шаурму, и это его позиция. Исчерпывающая, как и всё, что делает Лёха: минимум средств, максимум высказывания.

Убираю телефон. Полирую дальше. Думаю о заказе, крон-

штейн к четвергу. Думаю о том, что нужно поговорить с Ки-ром про обгоны по встрече. Так, чтобы он не закрылся, как бронированная дверь, потому что с Киrom нельзя давить, с ним нужно спрашивать, и ждать, и позволять ему самому прийти к ответу, потому что он не дурак. Он просто молодой парень, школьник, который иногда путает бесстрашие с безразличием к собственному существованию, и разница между этими вещами предмет разговора, который я всё откладываю.

Думаю о Своре. О том, как она сложилась, не по расчёту, не по плану, а так, как складываются вещи, которые были неизбежны. Я не просил быть тем, за кем идут. Просто оказался впереди, потому что шёл первым, потому что мне некого было бояться потерять, а это развязывает руки и делает шаг лёгким. Мама умерла, когда мне было семнадцать. Рак, полгода от диагноза до конца. Отец ушёл, когда мне исполнилось шесть, и я не помню его лица, только запах кожаного ремня и звук закрывшейся двери, который оказался окончательным. После семнадцати общага, работа, универ. Свора пришла позже, по одному. Санёк первый, на парковке, потому что ему понравился мой байк и он не мог не сказать об этом вслух. Маратик через Санька, тихо, сразу встал на своё место, как родной. Дэн сам, с улыбкой, которая, как выяснилось, работает как дефибриллятор для мёртвых компаний. Лёха молча, просто появился в какой-то момент и всех это устроило, а главное устроило его. Кир последний, самый

младший, пришёл сам, стоял на расстоянии неделю, смотрел. Я кивнул, и этого хватило.

Шесть человек. Единственная семья, которая держится не на крови, а на том, что каждый из нас однажды стоял один и решил, что хватит.

Вот о чём я думаю. Об этом.

А не о том, как она сидит спиной к стене в столовой. И не о том, как мягкий парень трогает её запястье, и рядом с ним она тихая, а со мной — горит.

Не об этом.

Убираю полироль, мою руки, закрываю бокс и еду домой. Город вечерний, фонари ещё не включились, майские сумерки, длинные, упрямые, не желающие уступать темноте. Байк урчит на светофоре, и вибрация мотора поднимается по бёдрам в позвоночник, привычная, как собственный пульс. Легковушка перестраивается прямо под колесо, и я ухожу влево одним движением корпуса, спокойно, не глядя на водителя, потому что злиться на автомобилистов — это как злиться на дождь.

На парковке у дома глушу двигатель и сижу секунду в тишине. После четырёх часов в боксе мир всегда ощущается ватным, будто кто-то убавил громкость, и нужно время, чтобы уши перестроились.

Захожу в подъезд, вызываю лифт. Он ползёт вверх с натугой, будто его собирали из деталей, оставшихся от другого механизма, и на полпути привычно дёргается и замирает, и я

каждый раз собираюсь написать в управляющую компанию и не пишу, потому что управляющая компания в этом доме понятие скорее философское, чем практическое.

Коридор. Соседская дверь закрыта, за ней тихо. Ключ, замок, свой порог.

Ставлю чайник и, пока он закипает, открываю ноутбук. Заказы: кронштейн для иномарки сдан, но в очереди ещё три позиции: подножки на триумф, переварка рамы на старый ЦБ750, и мужик из Подольска, который хочет бак под заказ и присылает картинки из соцсетей с таким энтузиазмом, будто я не сварщик, а джинн из лампы. Отвечаю ему: сроки, цена, допуски. Закрываю.

Чайник щёлкает. Наливаю кипяток в кружку, бросаю пакетик, не кофе, просто чай, потому что второй кофе на ночь даже для меня перебор, а завтра в восемь зачёт по сопромату, к которому я готов процентов на шестьдесят, и оставшиеся сорок планирую добрать за ночь, потому что так живу уже четыре года: работа вечером, учёба в щелях между.

Сопромат. Открываю конспект, сажусь. Формулы, эпюры, изгибающие моменты. Голова переключается медленно, мастерская всё ещё в пальцах, запах горелого металла вьелся в кожу, и хозяйственное мыло, которым я мылся в боксе, взяло не всё. Но формулы затягивают: напряжение, деформация, предел прочности. Тот же металл, только на бумаге.

Полчаса. Сорок минут. Решаю задачу на двутавровую балку, и голова наконец пустая, и это хорошо.

За стеной голос.

Соседка. Её до сих пор ни разу не видел, графики не совпадают, или совпадают, но я не из тех, кто запоминает соседей по лицам. Для меня она набор вечерних звуков: разговоры, смех, стук клавиш, и под конец пение перед сном, тихое, по кругу, обрывающееся на середине, когда она засыпает. Этот набор я выучил, как звуки собственной квартиры. Фон, к которому привыкаешь.

Но сегодня фон меняется. Голос становится громче, подача другая: так звучат в микрофон, с проекцией, с паузами, рассчитанными на чужое восприятие. Дерзкая, нахальная, с растяжкой на гласных, которая делает каждое слово вызовом. И одновременно с тем удовольствием от собственной наглости, которое слышно в голосе человека, занимающегося ровно тем, чем хочет заниматься. Так ведёт себя Санёк за диджейским пультом.

Я давно перестал пытаться разобрать слова, стена достаточно тонкая для интонаций, но слишком толстая для содержания. Слышу тон, ритм, смех. Этого хватает, чтобы составить представление, и представление выходит странным: днём в этой квартире тишина, будто там никого нет. А вечерами из-за стены звучит голос, который заполняет всё пространство, свободный, громкий, живой.

Два режима. Человек, который молчит при свете и оживает в темноте. Я не знаю, как она выглядит, сколько ей лет и чем занимается, но знаю, что у неё есть голос, который заби-

рает кислород из соседней квартиры через десять сантиметров гипсокартона. И я знаю, что она поёт перед сном каждый вечер, тихо, и засыпает на третьем или четвёртом круге мелодии, и почему-то запоминаю, на каком именно, будто это имеет значение.

Не имеет. Она соседка. Голос и набор звуков.

Конспект по сопромату давно закрыт. Чай остыл. Сижу за столом и слушаю, как она за стеной рассказывает кому-то историю, быстро, взхлёб, перебивая саму себя смехом, и понимаю, что последние двадцать минут не решил ни одной задачи.

В столовой мелкая сидела с погашенными глазами и кивала мягкому парню. На крыльце та же мелкая горела и швыряла в меня словами, как камнями. У неё тоже два режима. Странное совпадение, которое ничего не значит.

Встаю. Мою кружку, ставлю в сушку. Душ быстрый, горячий, чтобы смыть бокс с кожи.

Ложусь. Выключаю свет.

За стеной голос стихает, переходит в мягкий регистр, разговор с подругой, наверное, а потом замолкает совсем. Щёлкает выключатель. Вода в ванной. Кровать.

И тишина.

Я лежу и жду, хотя не отдаю себе в этом отчёта. Тело замирает в той точке между бодрствованием и сном, где слух обостряется, где каждый шорох ложится на барабанную перепонку, как палец на струну.

Вздых.

Тихий. Сонный. Или не сонный? Чуть длиннее, чем нужно для засыпания. Чуть глубже.

Я не двигаюсь.

Второй вздох. И его мягкость, его теплота срабатывают лучше всяких рассуждений: кровь приливает вниз, член тяжелеет, и это происходит так быстро и так помимо воли, что я стискиваю зубы.

Сонный вздох. Она просто засыпает. Повернулась на другой бок, или поправила одеяло, или накатил один из тех снов, который заставляет двигаться и издавать звуки. Нормальный, невинный звук, который мой организм интерпретировал единственным доступным ему способом, потому что за последние недели он утратил всякую способность к объективности, когда дело касается звуков из-за этой конкретной стены.

Лежу. Не трогаю себя. Принципиально. Не потому что праведник, а потому что дрочить на сонное дыхание незнакомой женщины за стеной, которую я ни разу не видел в лицо, это уровень жалкости, с которым потом не смогу спокойно варить утренний кофе. А утренний кофе ритуал, и ритуалы я не порчу.

Переворачиваюсь на живот. Утыкаюсь лицом в подушку. Стояк упирается в матрас, и от давления хуже, а не лучше, и я переворачиваюсь обратно на спину и лежу, уставившись в потолок, и жёлтая полоска фонаря дрожит, и за стеной ров-

ное дыхание. Мне двадцать два года, и у меня достаточно самоконтроля.

Достаточно.

Должно быть достаточно.

Засыпаю через сорок минут, когда тело наконец сдаётся и возбуждение отступает, оставив после себя ноющую тяжесть в паху и раздражение, не на соседку, на себя.

А мелкая с крыльца в голове отдельным файлом. Два горящих глаза, слово «невыносимый», фыркание, от которого у неё покраснели уши. Просто два разных раздражителя, которые сегодня мешают мне заснуть, и я не знаю, который из них опаснее: тот, у которого есть лицо, или тот, у которого его нет.

Глава 7. Мила: Крыльцо

Я нахожу его, когда выхожу утром: белый лист на коврике, тот же формат, тот же маркер, то же аккуратное расположение по центру. Два глаза. Нарисованные с той же пугающей старательностью: параллельная штриховка радужки, круглые зрачки, ресницы по одной. Но теперь их два, и между ними проступает контур переносицы, едва намеченный, будто рука замерла на полпути.

Первый лист один глаз. Второй — два и начало лица.

Стою с рюкзаком на плече, одетая, собранная, и смотрю на это, и внутри схлопывается воздух, будто его выкачали из комнаты. Не паника, тише, глубже. Ощущение, что кто-то стоит за стеклом и наблюдает.

Приседаю. Фонарик телефона на замочную скважину: царапины свежие, глубже прежних, уверенные. Серебристой стружки больше, рассыпана полукругом, инструмент проводили с нажимом. Кто-то стоял здесь ночью, пока я спала, и работал не торопясь.

Фотографирую лист, царапины, пыль — всё в папку «YN». Убираю рисунок в рюкзак.

Лизе звоню из подъезда.

— Второй лист. Два глаза. Замок ковыряли. Опять.

Она просыпается мгновенно, щёлк, и голос натянутый, острый.

— Сфоткала?

— Всё в папке.

— Пора в полицию.

— И что, они приставят к моей квартире жандарма?

— А чего ждать? Пока он вскроет твою дверь? Третий раз

— полиция. Не «подумаю». И замок поменяй, я серьёзно, стальной, с защитой от отмычки.

— Я не знаю, как менять замки.

— Вызови мастера. Или попроси кого-нибудь. Просто не живи с замком, который тебя не защитит.

Вешаю трубку. Выхожу из подъезда, и мир обрушивается — без наушников он просто оглушителен. Гудки, моторы, чей-то разговор на парковке, ветер в тополях, всё прямой наводкой, без фильтра, без музыки между мной и остальной вселенной.

Пары в тумане. Тело сидит, рука пишет, буквы бегут, ничего не остаётся. Олег ставит передо мной латте, тёплый, карамельный, о чём-то рассказывает, я киваю, улыбаюсь и не слышу ни слова.

Крыльцо после пар.

Он стоит у перил, снова, один, без остальных, сигарета, расстёгнутая кожанка. Парковка полупустая: только его мотоцикл, чёрно-красный, на своём обычном месте. Он смотрит куда-то мимо, в сторону дороги, и на лице ничего. Ни ухмылки, ни прищур. Просто человек, который курит и ждёт.

Я иду мимо. Ступенька, вторая, тротуар. Быстрый шаг,

взгляд вперёд, всё по плану: пройти, не зацепиться, не задержаться. И я почти прохожу, почти выхожу из радиуса его голоса, и можно было бы уйти, и всё осталось бы как есть, но он поворачивает голову, медленно, с той ленивой экономностью движений, к которой привыкаю, хотя привыкать не собиралась, и наши глаза встречаются — коротко, вскользь. Он молчит, просто смотрит, и в его взгляде я ловлю новое: он смотрит осторожно. Аккуратно. Как на тонкое стекло, которое треснет, если подойти слишком быстро.

И от этой аккуратности, от того, что я недавно накричала на него, а сегодня он молчит и смотрит вот так, бережно, будто я проблема, которую нужно решать деликатно, меня заносит. Потому что я не хрупкая. Я не нуждаюсь в бережном обращении. Я огрызаюсь и строю стены, и я в порядке, и единственное, чего мне не нужно, это чтобы кто-то смотрел на меня так, будто видит, что я не в порядке.

— Можешь не стараться, — бросаю через плечо и слышу, как моя собственная злость придаёт голосу ту резкость, которая обычно заставляет людей сделать шаг назад.

Пауза. Я чувствую её спиной, его молчание, короткое и плотное. А потом:

— Стараться?

Голос ровный, спокойный, без единого острого угла. Он произносит это слово с таким чистым недоумением, будто действительно не понимает, и я знаю, что это провокация, знаю, что он прекрасно понял, и всё равно разворачиваюсь.

— Выглядеть так, будто ты осторожничаешь. Будто я тебе что-то такое сказала, после чего нужно обращаться со мной как с контуженной. Можешь не трудиться. Всё нормально. Я злилась не на тебя, и вообще, это не важно. Вопрос закрыт.

Он вытягивает сигарету из пачки, не торопясь, зажигает, щелчок зиппо, запах бензина зажигалки, дым, и первую затяжку делает медленно, с той невозмутимостью, от которой хочется кинуть в него рюкзаком.

— На кого ты злилась?

— Неважно.

— Ты сказала «неважно» дважды за десять секунд. Обычно это значит, что очень даже важно.

— Ты опять считаешь мои слова?

— Тяжело не считать, когда их так мало. Ты обычно щедрее.

Я стою на тротуаре, рюкзак на одном плече, и смотрю на него снизу вверх, он на крыльце, я на уровень ниже, и ракурс не в мою пользу, и это бесит.

— Послушай. — Голос у меня уже не кусает, скрежещет, как гвоздь по стеклу. — Я повела себя отвратительно. Я это знаю. Мне не нужно, чтобы ты делал вид, что ничего не случилось, и не нужно, чтобы ты делал вид, что что-то было. Мне нужно, чтобы ты...

Замолкаю, потому что не знаю, как закончить. Чего я хочу? Чтобы он исчез? Нет. Чтобы продолжил шутить, как раньше? Тоже нет, потому что тогда это будет значить, что

мой крик ничего не весил. Чтобы смотрел иначе? Но он и так смотрит иначе, вот прямо сейчас, и от этого «иначе» у меня скручивает под рёбрами.

— Чтобы я что? — спрашивает он, и в его голосе появляется новая нота, не насмешка — живее и опаснее. Любопытство. Настоящее, не ленивое. Он спрашивает, потому что хочет знать.

— Чтобы ты был как раньше, — таймер подходит к концу, и я выдаю то небольшое, во что успели сложиться мысли.

Он смотрит на меня долго. Затычка. Дым уходит вбок, не в мою сторону, и я каждый раз обращаю внимание на эту мелочь: он выдыхает от меня, а не на меня.

— Как раньше это как? — спрашивает он, и голос у него становится другим. — Когда я говорил про бордюр, а ты делала вид, что бесишься? Или когда считал твои вздохи в библиотеке, а ты пялилась на мои руки?

Жар бьёт в лицо, мгновенный, ослепительный, как вспышка.

— Я не пялилась на твои руки.

— Ты секунд пять не отрывала от них взгляд, как это называется?

— Ты засекал?

— Не нужно засекать. — Ухмылка возвращается, наконец, одним уголком рта, ленивая, невыносимая, привычная, и от неё мне одновременно хочется развернуться и уйти и

остаться и смотреть на неё ещё. — Когда на тебя смотря так, как смотрела ты, это чувствуешь.

— Я смотрела на клавиатуру.

— Клавиатура у меня под пальцами. Пальцы на руках. Руки мои. Транзитивная цепочка, и где-то в ней ты задержалась дольше, чем на клавиатуре.

Я стою, и щёки горят, и уши горят, и шея горит, и всё, что я могу, это смотреть на него снизу вверх и злиться, и злость единственное, что не даёт мне провалиться в бетон.

— Ты невыносимый.

Звучит совсем не так, как в первый раз, в библиотеке. Тогда это было оружие. Сейчас выходит мягче и страшнее, и я слышу это сама, и он слышит тоже, и его ухмылка становится чуть шире, буквально на миллиметр, но я вижу.

— Ты уже говорила. — Он стряхивает пепел. — Но в этот раз прозвучало иначе.

— Прозвучало так же.

— Нет. — Он качает головой, и тёмные глаза находят мои, и держат, и не отпускают, и я чувствую этот взгляд физически, как давление на грудную клетку, как ладонь, которая не касается, но ощущается. — В первый раз ты имела в виду «отвали». А сейчас ты имеешь в виду что-то другое, и у тебя горят уши, и ты стоишь на месте, хотя можешь уйти.

— Я ухожу.

— Стоишь.

— Сейчас уйду.

— Жду.

Я стою. Он курит. Майское солнце бьёт ему в плечо, и тени от перил ложатся на ступеньки ровными полосами, и я стою, и не ухожу, и он это видит, и мы оба это знаем, и воздух между нами заряжен так, что у меня покалывает в кончиках пальцев.

— Мне пора на автобус, — выдавливаю я наконец, и голос звучит почти нормально, если не считать того, что забыла, как дышать.

— Они ходят каждые двенадцать минут, — отвечает он, не отрывая взгляда. — На все не опоздаешь.

— У тебя же транспорт, откуда ты знаешь расписание автобусов?

— Это же транспортная логистика. Невероятно интересно. Схему метро видела? Поинтереснее «Интерстеллара» будет.

Фыркаю. Опять. Тот же произвольный звук, который вылетает прежде, чем я успеваю его поймать, и я ненавижу его, и ненавижу собственные губы, которые дёргаются вверх, потому что это не смешно, он не смешной, он невыносимый. Он стоит на крыльце и разбирает меня на детали с ухмылкой, от которой у меня путаются мысли, и это всё стратегия, и обаяние, и привычка, и наверняка так же он говорит с каждой, кто задерживается на этих ступеньках дольше, чем следует.

Разворачиваюсь. Ухожу. На этот раз по-настоящему. Не

оглядываюсь.

Но пока автобус закрывает двери и трогается, и парковка уплывает в заднее окно, я ловлю себя на том, что всё ещё пытаюсь сдержать улыбку. И что фраза: «когда на тебя смотрят так, как смотрела ты, это чувствуешь» — стоит в голове, как заноза, которую не вытащишь, не обойдёшь.

Вечером стрим. Четыре часа в шкуре Ками, дерзкой, громкой, яркой. Пою, подкалываю чат, собираю донаты. Привычная механика спасения: микрофон, аватар, стена пикселей между мной и миром, за которой можно быть кем угодно. На пятой песне, медленной, низкой, замечаю, что пою иначе, чем обычно: быстрее, фразы короче, дыхание чаще.

В чате свежий аккаунт:

YourNeighbor____

Три нижних подчёркивания. Восьмой.

«Пятая песня. Дыхание сбивчивое. Торопишься закончить?»

Он различает мои эмоции по скорости пения. По длине фраз, по тому, где я беру дыхание. Тысяча человек в чате, и ни один не разберёт того, что слышит он. А он слышит всё: каждый сбой, каждую микротрещину, и формулирует с точностью, от которой немеет затылок.

Баню. Допеваю. Гашу мониторы.

За стеной шаги, ключи, вода. Привычная последовательность: он пришёл, он на кухне. Тишина.

Иду в душ. Горячая вода, почти кипяток, пар забивает ванную за минуту. Стою с закрытыми глазами, вода бьёт по плечам, по затылку, и я пытаюсь смыть этот день, но он не смывается, он прилип, въелся, как запах сигарет в ткань.

За закрытыми веками его ухмылка на крыльце. «Когда на тебя смотрят так, как смотрела ты, это чувствуешь». Его голос, низкий, ровный, и то, как он произнёс «чувствуешь», чуть медленнее, чем остальные слова, с нажимом, будто хотел, чтобы это слово легло мне на кожу.

Рука скользит вниз по мокрому животу, медленно, с тем осторожным любопытством, которое появилось совсем недавно. Пальцы ложатся на горячую, набухшую кожу, и первое прикосновение, мягкое, круговое, отзывается в коленях, и я упираюсь плечом в кафель, холодный, скользкий, контраст с горячей водой.

Двигаюсь под собственный ритм. Не под звуки из-за стены, не под чужое дыхание, под своё. Медленно, с паузами, в которых слушаю себя. Его голос в голове, «это чувствуешь», и я чувствую, да, чувствую, как пальцы находят тот угол и тот нажим, от которого по бёдрам прокатывается волна, и ещё одна, закусываю губу, вода шумит достаточно громко, стены не выдадут, и позволяю себе — впервые без ненависти и утреннего стыда, без ощущения, что ворую чужое.

Кончаю тихо, прикусив губу, длинной мягкой волной, от которой ноги подгибаются, и я сползаю по стенке на дно кабины. Сажусь под водой, пока дыхание не выравнивается.

Стыда меньше. Страха больше, потому что я только что кончила, думая о конкретном человеке, и его голос, его улыбка, его «это чувствуешь» теперь мои, спрятанные в голове, где он никогда не узнает. Или узнает?

Вытираюсь. Ложусь. Мокрые волосы на подушке, одеяло до подбородка, темнота.

За стеной тишина.

Глава 8. Мила: Лифт

Выходной я обещаю себе провести как нормальный человек. Не как девочка, которая проверяет замочную скважину с фонариком телефона, не как стримерша, отматывающая логи чата в поисках очередного набора подчёркиваний, не как соседка, лежащая в темноте с ладонью на гипсокартоне. Нормальный человек.

План простой: выйти из квартиры, дойти до парка, сесть на скамейку, дышать. Может быть, с книгой. Может быть, с кофе из ларька у входа, где пожилая армянка варит в медной джезве и не признаёт сиропов, и от этого кофе пахнет так, как должен пахнуть кофе — горько, густо, по-настоящему. Может быть, просто сидеть и смотреть, как ветер несёт тополиный пух над прудом, и ни о чём не думать хотя бы двадцать минут.

План почти работает.

Парк маленький, зажатый между двумя новостройками, с асфальтовой дорожкой, обсаженной молодыми липами, которые ещё не дают тени, но уже стараются. Овальный пруд с утками, которых кто-то кормит батонem с таким постоянством, что утки разжирили до размеров кошек и смотрят на прохожих с сытой скукой. Третья скамейка от входа стоит под единственной липой, выросшей чуть раньше остальных, и она даёт пятнистую, дрожащую тень.

Сижу. Пью кофе. Книга открыта на коленях — Ремарк «Три товарища», потому что Лиза сказала: «прочитай, там про мужскую дружбу и машины, тебе зайдёт», и я не стала спрашивать, что она имела в виду.

Ветер треплет страницы. Пух летит, цепляется за ресницы, за обложку, за кромку стакана. Майское солнце бьёт сквозь листву, на коленях пляшут пятна света, и воздух пахнет водой, нагретой землёй и скошенной травой — кто-то из коммунальщиков прошёлся триммером, и запах свежего среза стоит в воздухе, зелёный и острый.

Нормально. Я нормальный человек на скамейке в парке. У меня кофе и книга. Я в порядке.

Телефон вибрирует. Лиза.

«Жива?»

«В парке. Читаю. Дышу».

«Дышишь. Какой прогресс. Горжусь. Замок менять будешь?»

Не отвечаю. Убираю телефон в карман куртки. Замок. Да. Нужно. Лиза права, Лиза всегда права — она единственный человек, который говорит мне то, чего я не хочу слышать.

Но замок — это признать. Признать, что дешёвый алюминиевый цилиндр в моей двери не защищает. Что кто-то стоял по ту сторону с тонким острым инструментом и проворачивал, пока я спала. Что белые листы на коврике не розыгрыш и не ошибка. Признать — значит начать действовать, а действовать — значит перестать быть невидимой, потому что

невидимые люди не меняют замки и не просят помощи. Они справляются сами. Молча. Как я делала с четырнадцати лет.

Дочитываю главу. Допиваю кофе. Выбрасываю стакан в урну. Сижу ещё полчаса, глядя на уток, и думаю о том, что Ремарк писал про людей, которые остались одни после войны и всё равно находили друг друга. Наверное, в этом есть утешение, но я не могу его найти, потому что они были друг у друга, а у меня — голос в мессенджере и аниме-аватар.

Встаю. Иду обратно.

Обратная дорога длиннее, чем нужно, потому что я нарочно выбираю крюк — через дворы, мимо детской площадки, где мальчик лет шести гоняет голубей с боевым кличем, а голуби не разлетаются, лишь лениво перешагивают. Захожу в продуктовый за молоком и хлебом, прохожу мимо клумбы, которую кто-то засадил бархатцами так густо, что они лезут на тротуар рыжим пожаром. Иду медленно, потому что в квартире тишина, и стол с ящиком, в котором лежит сложенный лист с двумя глазами, и замок, который не защищает.

А в парке утки, и ветер, и пух, и никто не рисует мне глаза.

Темнеет поздно. Май не отпускает свет до последнего, упрямо, как ребёнок, не желающий ложиться спать. Когда я подхожу к подъезду, небо ещё розовое на западе, но двор уже в тени, и фонари горят жёлтым, мутным светом и гудят тем электрическим гулом, который в тишине кажется единственным звуком во вселенной.

Подъезд. Код, дверь, вестибюль, пахнувший бетонной пылью.

Лифт.

Нажимаю кнопку вызова. Индикатор мигает, наверху дёргается и гудит механизм и начинает спускаться с той натужной неохотой, с которой этот лифт делает всё.

Двери разъезжаются. Пусто. Захожу. Пахнет резиной, сыростью и чьим-то ужином, въевшимся в стены кабины. Нажимаю кнопку этажа. Двери начинают закрываться, медленно, с металлическим стоном.

Рука. Большая, татуированная, с чёрными линиями геометрического узора на тыльной стороне и белыми шрамами на костяшках — хаотичными, от инструментов, от горячего металла. Пальцы ловят створку за резиновый уплотнитель, вставляются в щель ровно с тем давлением, которое останавливает створку, но не ломает.

Двери расходятся.

Он входит. Кожанка в руке, чёрная футболка с тёмным пятном у рёбер — масло или бензин, въевшееся в ткань так глубоко, что стало частью рисунка. Волосы примяты от шлема, на скуле полоска копоти. Пахнет мастерской: машинным маслом, хозяйственным мылом и чем-то ещё, что пробивается через индустриальный слой.

Его взгляд, короткий, считывающий, проходит по мне, и я вижу, как он узнаёт: микродвижение бровей, едва заметное, на долю секунды. Потом ничего. Лицо закрывается, как

дверь на щеколду.

Он смотрит на панель. Кнопка моего этажа уже горит. Он не нажимает другую.

Двери закрываются. Лифт дёргается и ползёт вверх.

Кабина два на два метра. Я стою у задней стенки, вжавшись рюкзаком в зеркало, он стоит у дверей спиной ко мне, и между нами полтора метра линолеума. Этого пространства, которого хватило бы для трёх человек, недостаточно, потому что он занимает его целиком, присутствием, а не размером. Воздух вокруг него плотнее, тяжелее, как перед грозой, и я чувствую его всей поверхностью кожи.

Не нажал другую кнопку.

По позвоночнику проходит разряд, холодный и короткий. Он вошёл. Увидел, какой этаж горит. Не нажал свой. Потому что его этаж — мой этаж? Или потому что ему не нужна кнопка, потому что он знает, куда я еду. Потому что знал, куда я еду, до того, как вошёл.

Стоп. Это паранойя. Это три часа сна, и белые листы, и царапины, и Лиза, и «эскалация», и мозг, который ищет угрозу в каждом движении, потому что угроза реальна. Кто-то рисует мне глаза и ковыряет замок, и этот кто-то знает мой этаж, мою дверь, и вот мужчина в лифте, который не нажал кнопку. Это может значить что угодно — что его этаж совпал, что статистически бывает, — или то, от чего кровь становится ледяной.

YourNeighbor_. Сосед.

Два слова, которые я три дня пыталась не складывать в одно. Ник в чате. Человек, который знает мой голос, мои семь минут разницы в расписании. Человек, который пишет «сладких снов, Ками» ровно тогда, когда я ложусь, как будто считает минуты от конца стрима до темноты в окне. Сосед.

И сейчас в лифте мужчина, который не нажал свою кнопку, потому что она уже горит.

Пальцы на поручне немеют. Сердце мелко вибрирует. Я смотрю на его спину, широкую, прямую, с лопатками, проступающими через ткань футболки, и пытаюсь вспомнить всё, что знаю. Бордюр, библиотека, крыльцо, ухмылка. Ладонь, которая дёрнулась и остановилась. «Когда на тебя смотрят так, как смотрела ты, — это чувствуешь».

Он замечает людей. Считает вздохи, засекает секунды, знает, сколько розеток в библиотеке и что я печатаю пятнадцать слов в минуту. Пугающая внимательность. Те же слова, которые я говорила Лизе про сталкера.

Лифт дёргается — привычный рывок на полпути, от которого кабина замирает на секунду. Я хватаюсь за поручень обеими руками, пальцы съезжают по влажному хрому, и стук кольца рюкзака о зеркало звучит так громко в этой коробке, что он поворачивает голову.

Вполоборота. Тёмные глаза через плечо.

И я вижу: он смотрит на мои руки, на побелевшие костяшки, вцепившиеся в поручень, на плечи, поднятые к ушам, на мою спину, расплюснутую о зеркало так, будто я пытаюсь

вдавиться сквозь стекло и исчезнуть.

По его лицу проходит быстрая тень, и он отворачивается. Молчит.

Лифт трогается. Цифры ползут. Кабина гудит и подрагивает, а я стою и не дышу, потому что если вдохну, то вдохну его запах, а если вдохну его запах, тело решит за меня, как решает каждый раз, и сейчас оно не имеет права решать. Сейчас не библиотека и не крыльцо, где можно развернуться и уйти. Сейчас один на два метра, закрытые двери и мужчина, который едет на мой этаж. Большой. Молчаливый. Знающий больше, чем должен знать случайный человек.

Лифт останавливается. Двери расходятся. Коридор — штукатурка, линолеум, тусклый свет от единственной лампы, которая гудит и мигает.

Выхожу. Быстро, не оглядываясь. Рюкзак бьёт по рёбрам. Ноги несут к двери с глазком и ковриком «Welcome».

За спиной его шаги. Тяжёлые, размеренные. В том же коридоре, в ту же сторону.

Он идёт за мной. Нет — он идёт в ту же сторону, по тому же коридору, потому что лифт открылся на этом этаже и коридор один, и он может жить в любой из этих дверей. Но ноги ускоряются сами, я лезу в карман за ключами, и пальцы не слушаются, и связка цепляется за подкладку, дёргаю, и ткань трещит, ключи вылетают на линолеум со звоном, который в тишине коридора звучит как выстрел.

Его шаги замедляются. Не останавливаются — замедля-

ются, как будто он считывает ситуацию на слух и корректирует дистанцию, и от этого расчёта, от этой внимательности, которая может быть заботой, а может — угрозой, мне ещё хуже.

Приседаю, хватаю ключи, встаю. Руки трясутся так, что ключ скользит по металлу замка, чертит линию, не попадает, ещё раз, мимо, и я слышу его шаги ближе, ближе, он в трёх метрах, в двух.

Ключ входит. Поворот. Второй. Дверь открывается.

И я не захожу. Потому что его шаги остановились прямо за мной, настолько близко, что чувствую тепло чужого тела затылком, и запах масла и мыла, и всё внутри сжимается в точку, белую и раскалённую, из которой расходится не жар, а лёд.

Разворачиваюсь.

Он стоит в полутора метрах. Лицо каменное, без ухмылки. Он смотрит на меня, и в его глазах я вижу то, чего не видела раньше: не иронию и не ту ленивую тяжесть, от которой у меня путались мысли на крыльце, а вывод, который складывается у него в голове прямо сейчас, пока он смотрит на мою дверь, на мой коврик, на мои трясущиеся руки. И мне всё равно, что он там складывает, потому что он стоит слишком близко, и всё, что копилось — листы, царапины, ночные сообщения, восемь аккаунтов — выбивает пробку, и меня затапливает.

— Хватит!

Голос взлетает до крика, и крик бьётся о стены коридора, отскакивает от линолеума, от гудящей лампы.

Он не двигается. Стоит так, как стоят перед собакой, которая скалится: неподвижно, без резких жестов.

— Я знаю, что это ты! — слова вылетают раньше, чем я успеваю их проверить, раньше здравого смысла, потому что здравый смысл закончился на третьей бессонной ночи, а на его месте страх, чистый, неразбавленный, детский. — Листы с рисунками — ты! Замок — ты! Каждый чёртов стрим ты сидишь и пишешь, и возвращаешься, и знаешь, когда я ложусь, и знаешь мой голос, и везде — бордюры, кофе, библиотека, лифт — я поворачиваюсь, а ты там!

Он не перебивает. Не поднимает рук, не делает шага назад. Стоит и слушает, и по его лицу ничего не двигается, и от этой каменной неподвижности страх только гуще — лучше бы он кричал в ответ.

— Я не сплю! — голос ломается, проседает, как стропила под тяжестью. — Я проверяю замок три раза. Я фотографирую царапины. Я завела папку со скриншотами, потому что кто-то считает нормальным рисовать мне глаза на бумаге и класть под дверь ночью, и ковырять мой замок, и писать «сладких снов» ровно тогда, когда я закрываю глаза. Я устала бояться!

Последнее слово выходит хриплым, мокрым, расколотым пополам. Я замолкаю. В коридоре тишина, гудение лампы,

моё рваное дыхание. Глаза жжёт, но слёз нет — слёзы требуют расслабления, а я натянута так, что если отпустить — лопну.

Он молчит. Долго.

Потом делает шаг. Не ко мне, вбок, к двери справа от меня.

Молча поднимает руку с ключами. Вставляет ключ в замок соседней двери, ничем не отличающейся от моей, за которой каждый вечер шаги, чайник, вода, бас тяжёлой музыки, а по ночам дыхание, которое я выучила против воли. Два поворота, точных и привычных. Дверь открывается.

Он стоит на пороге, одной ногой в своей квартире, и поворачивается.

Его глаза находят мои. Тёмные, прямые, без единого обертона — ни тепла, ни иронии, ни того любопытства, от которого у меня покалывало в пальцах на крыльце. Сухие.

— Листы — не я. Замок — не я. Стримы — не смотрю. — Голос ровный, тихий, каждое слово отдельно, как гвоздь, вбитый по шляпку. — Я живу здесь. Я понятия не имел, что ты моя соседка. Единственное, что я действительно знал о тебе до сегодняшнего вечера — когда ты ложишься спать, потому что ты поёшь, пока не заснёшь.

Дверь закрывается. Тихо, без хлопка. Щёлкает замок.

Стою в коридоре под гудящей лампой. Две двери: моя открыта, его закрыта. Коврик «Welcome», глазок, полтора метра линолеума между порогами.

Он живёт здесь. За этой стеной.

Три предложения, и каждое обрушивается отдельным этажом. «Листы — не я». Голос, в котором нет оправдания, есть факт, произнесённый человеком, которому не нужно оправдываться, потому что он знает, что не виноват, и этого ему достаточно. «Замок — не я». Та же интонация, стерильная, без шва, за который можно зацепиться. «Стримы — не смотрю». И это бьёт отдельно, потому что YourNeighbor_ смотрит каждый стрим три месяца без единого пропуска, а он сказал «не смотрю» голосом, которым говорят правду — не потому что хотят убедить, а потому что ложь требует усилия, а он не тратит усилие на людей, которые только что обвинили его в том, чего он не делал.

«Ты поёшь, пока не заснёшь».

Ноги подгибаются. Я сползаю по дверному косяку, спина скребёт по дерматину, куртка задирается, и сажусь на пол своей прихожей, одна нога в квартире, другая — в коридоре. Рюкзак падает с плеча, ключи снова выскальзывают из пальцев, и я сижу, обхватив колени, и смотрю на его закрытую дверь в полутора метрах.

Он знает, что я пою перед сном.

Стыд приходит обвалом, всей массой, всем весом. Я кричала на человека, который живёт за стеной. Который знает мой голос не со стрима, а через десять сантиметров гипсокартона, потому что каждый вечер лежит по ту сторону и слышит, как я засыпаю. Который стоял в полутора метрах

и молчал, пока я вываливала на него чужую вину, не перебил, не оправдался, не повысил голос, а ответил фактами и закрыл дверь. Тихо.

Я обвинила его в преследовании. А он слушает, как я пою. И под стыдом, глубже, облегчение.

Он не сталкер. Не потому что не может им быть, а потому что человек, который произносит «ты поёшь перед сном» этим голосом, тихим, ровным, с единственной трещиной на слове «поёшь», которую я расслышала или выдумала, не ковыряет замки в три часа ночи. Мне не нужно этого доказывать. Я знаю — тем знанием, которое живёт не в голове, а в рёбрах, в том месте, где страх отличается от тревоги.

И под облегчением удар.

Он сосед. Стена общая. За ней он. Всегда он.

Стоны, низкие, хриплые, с вибрирующим надломом на выдохе, которые я слушала каждую ночь, вцепившись в пододуеальник, — его. И ритм, который ускорялся и замедлялся, под который мои бёдра двигались сами, подстраиваясь через общую стену, и финальный аккорд, длинный, рваный, с рычанием, задушенным стиснутыми зубами, — тоже его.

Не абстрактного соседа. Не безликого, безымянного, безопасного-потому-что-незнакомого. Его. Рэма. Человека с татуировками до костяшек и пирсингом в брови. Который сидит на крыльце и говорит голосом, от которого у меня сворачивает что-то между рёбер. У которого ухмылка одним углом рта, и лицо без неё серьёзное, от которого хуже, чем от

ухмылки.

Его стоны в десяти сантиметрах от моей подушки. И я пользовалась ими. Зажимая рот ладонью. Двигаясь в его ритме. Думая о руках с татуировками. Не зная, что угадала.

Сажу на полу, линолеум холодный, лампа гудит. За его дверью тишина, потом шаги, короткие, от двери вглубь квартиры. Скрип. Звук воды из крана. Плеск. Тишина.

Я знаю эту последовательность. Слышала её десятки раз и каталогизировала фоном, привычкой. Шаги, вода, чайник, музыка, кровать. Каждый вечер. Чужой распорядок, который был шумом, ничьим.

Теперь каждый звук подписан: его кран, его шаги, его распорядок, отпечатанный в моей памяти.

Тело не спрашивает разрешения, оно никогда не спрашивает, и я это ненавижу. И сейчас, на холодном полу, сидя напротив его закрытой двери, чувствую, как низ живота наливаются тяжестью. От того, что абстракция рухнула, и на её месте конкретика: его лицо, его руки, его голос, и всё, что я присваивала в темноте, ворованное и безымянное, теперь имеет владельца. И владелец за одной закрытой дверью.

Пульсирует. Позорно, невозможно. Я только что тряслась от страха, только что кричала. И сижу на полу с мокрыми трусами, потому что тело выучило простое уравнение: он плюс близко равно жар — и ему плевать на контекст.

Сжимаю колени. Утыкаюсь лбом в джинсы. Дышу медленно, считаю выдохи, как Лиза учила, пока пульс не замедля-

ется настолько, чтобы можно было встать.

Встаю. Подбираю рюкзак, ключи. Втаскиваю себя в квартиру. Закрываю дверь. Два поворота. Цепочка.

Прижимаюсь спиной к двери и стою.

За стеной тишина, потом щелчок чайника, вода, звон кружки. Его кружка, его чайник, его кухня в трёх метрах от моей, через перегородку, которая не стена, а папиросная бумага.

Стягиваю кроссовки, куртку на крючок. Ванная, холодная вода, пока лицо не немеет. Зеркало: красные глаза, красные скулы, красные уши.

Ложусь не раздеваясь, в джинсах, в водолазке, как будто одежда может быть бронёй. Одеяло до подбородка. Потолок. Жёлтая полоска от фонаря.

За стеной шаги. Он вышел из кухни, прошёл в комнату. Скрип — сел или лёг. Тишина.

И я лежу и думаю о том, что он сейчас думает обо мне.

Он сказал: «до сегодняшнего вечера». До — значит, теперь знает больше. Теперь знает, что мелкая с универа, которая называла его невыносимым, живёт за стеной. И это она только что кричала ему в лицо, что он маньяк.

Стыд возвращается, горячий, удушливый.

Он не хлопнул дверью. Не повысил голос. Не сказал «ты ошибаешься», не сказал «успокойся», не стал объяснять и защищаться. Он перечислил факты и ушёл. Дал мне информацию и оставил наедине с ней.

И от его тишины, от его «я живу здесь», произнесённого без единой трещины, мне тошно. Крик можно отразить криком, а его молчание — молчание человека, которого ударили и который решил не бить в ответ, — с ним я не знаю, что делать.

Лежу. За стеной ровная тишина. Он, наверное, лежит так же. Может быть, думает: мелкая психованная, с ней лучше не связываться.

И будет прав. Абсолютно, бесспорно прав.

И от мысли, что «невыносимый» может исчезнуть, под рёбрами сжимается так, что подтягиваю колени к груди и сворачиваюсь. Одеяло комкается, и я понимаю то, что Лиза знала с первого разговора, что тело знало с первого бордюра, а разум отказывался формулировать, пока формулировка не стала неизбежной:

Я боюсь не его.

Я боюсь того, что он делает с расстоянием. Он не ломает его. Он просто существует рядом, и расстояние сжимается само, без давления. И теперь «рядом» — это не крыльцо и не библиотека. Это стена. Десять сантиметров. Каждую ночь.

И не знаю, как быть рядом с кем-то, кто уже ближе, чем я подпускала любого человека за всю свою жизнь. Кто слышит, как я засыпаю.

Лежу и молчу, горло саднит, минуты тянутся.

За стеной тишина — абсолютная, набитая всем, что мы оба знаем и не говорим.

Потом три стука. Тихих. С той стороны.

Замираю. Сердце спотыкается и запускается снова с перебоем, от которого вздрагивает всё тело.

Три стука — после крика и обвинений, после двери, закрытой тихо, после тишины, которая длилась бесконечность.

В них нет ни упрёка, ни вопроса. Они значат то единственное, что можно сказать костяшками по стене: я здесь. Ты там. Между нами десять сантиметров. Спокойной ночи.

Подношу руку к стене медленно, пальцы дрожат. Стучу три раза, тихо, костяшками.

Опускаю ладонь на обои, плашмя, всей поверхностью. Прижимаю. Стена чуть тёплая — или мне кажется, или я хочу, чтобы казалось, что по ту сторону его ладонь, зеркально, так же.

Закрываю глаза. В голове его голос, то, что он сказал последним, перед тем как дверь закрылась.

Он сказал это не как обвинение и не как доказательство. Он сказал это как человек, который хранил чужую тайну — маленькую, ничью, случайно подслушанную — и вернул её владельце. Бережно.

Ладонь на стене. Засыпаю.

Глава 9. Рэм: Она

Стою в прихожей, спиной к закрытой двери, и ключи врезаются в ладонь, потому что кулак сжался сам ещё в коридоре, когда она кричала, и до сих пор не разжался, будто тело законсервировало момент и отказывается двигаться дальше, пока голова не догонит.

А голова не догоняет, она всё ещё в коридоре. Ясно стало ещё в лифте, в ту секунду, когда палец завис над панелью и опустился, потому что кнопка горела, потому что её этаж и мой этаж оказались одной кнопкой, одним коридором, одной стеной. И всё, что я считал двумя отдельными файлами, двумя непересекающимися раздражителями, схлопнулось в точку, и точка эта носит серую куртку на размер больше и поёт перед сном.

Это она.

Мелкая из универа — соседка за стеной. Голос, под который я засыпал последние недели, принадлежит девочке, которая говорит мне «невыносимый» так, что слово теряет значение и приобретает температуру. Которая смотрела на мои руки, а потом швыряла словами, как камнями, и фыркала на мои шутки с яростной произвольностью, от которой у неё горели уши.

Одна и та же. И она живёт за моей стеной.

Бросаю ключи на полку, они съезжают, падают за край,

стукаются об пол, и мне плевать. Кожанка на крючок, мимо крючка, на пол к ключам. Плевать. Кухня. Три квадратных метра, кран, ледяная вода в лицо — держу, пока лёгкие не начинают гореть и мысли не вымораживает до состояния, с которым можно работать.

Выпрямляюсь. Капли стекают по шее за воротник промасленной футболки. Чайник. Кнопка. Щелчок. И пока вода закипает, руки опираются на край столешницы, пальцы впиваются в ламинат, и я прокручиваю покадрово.

Лифт. Она в углу кабины. Вжатая спина, рюкзак расплюсцен о зеркало, побелевшие костяшки на поручне, плечи к ушам, напряжена так, что видно каждое сухожилие на шее. Поза, которую тело принимает не по решению, а по памяти, по вбитому рефлексу.

Она боялась. Не тревожилась, не нервничала — боялась по-настоящему, всем телом, от белых пальцев до рваного дыхания, которое я слышал спиной. Когда я повернулся и увидел её глаза, в них отражалось то, что я видел один раз в жизни: в зеркале общажной ванной, в семнадцать, в ночь, когда квартира перестала быть моей, когда мир стал огромным и пустым, и в зеркале отражался мальчишка, понявший, что между ним и всем остальным миром больше никто не стоит. Такой страх. Не поверхностный, не ситуативный — фундаментальный, вросший в кости.

Она так смотрела на меня. Как на угрозу, от которой некуда деться.

Чайник щёлкает. Наливаю, обжигаюсь, глотаю, не дожидаясь, потому что ожог на языке прост и понятен, у него есть причина и следствие, а у того, что в голове, ни того ни другого, только гудящий хаос.

Потом коридор. Как она рвала карман, доставая ключи. Как связка вылетела и ударилась о линолеум, и я замедлил шаги, потому что по звуку её дыхания понял: каждый мой шаг для неё не «человек идёт домой», а «он приближается». И замедлился, как сбрасываешь скорость перед слепым поворотом, а она прочитала это по-своему, потому что в её мире аккуратность не означает «я не трону», она означает «он контролирует дистанцию, он опаснее».

Развернулась. Бледная, глаза влажные, челюсть стиснута, руки в кулаках, и голос, которым не разговаривают, а бьют наотмашь, швыряла мне в лицо всё, что копилось: рисунки, царапины, аккаунты, ночные сообщения, бессонницу, папку со скриншотами. Человек, который чёрт знает сколько держал это внутри, строя по кирпичику аккуратную стену самоконтроля, разрушил её на мне.

Я стоял и молчал, потому что перебивать человека в таком состоянии — это не разговор. И потому что в её крике, под слоями обвинений и страха, я расслышал кое-что, от чего стиснул ключи до вмятин в ладони: одиночество. Тотальное, звенящее. Человек, который справляется сам, потому что больше некому, и от этого ломается.

Допиваю чай, мою кружку, ставлю в сушку.

Душ. Горячий, короткий, функциональный — смыть мастерскую. Хозяйственное мыло берёт металл и копоть, но не берёт остального: под закрытыми веками её лицо в коридоре, мокрые яростные глаза, голос, который дрожал и не ломался, кулаки, белые от напряжения, направленные не в меня, а в сторону мира, который загнал её в угол. Она кричала на человека, который тяжелее её вдвое, не отступив ни на шаг, и огня в этом крике хватило бы на пожар.

Выключаю воду. Вытираюсь. Зеркало запотевшее, и из тумана проступает контур: широкие плечи, татуировки от шеи до костяшек, пирсинг в брови, шрамы на руках. Мужчина, при виде которого в лифте вжимаются в стену.

Она думала, что я тот, кто рисует странные рисунки и ковыряет замок. И я не могу её за это винить, потому что если выложить на стол все карты, они складываются в портрет, от которого разумный человек побежит. Мир научил её простому уравнению: большой плюс внимательный плюс рядом равно опасность. И я идеальная переменная для этого уравнения.

Комната, свет выключен. Ложусь.

За стеной тишина, и эта тишина неправильная, потому что каждый вечер здесь был голос. Мелодия по кругу, замедляющаяся на каждом витке, всё тише, пока не обрывалась на середине фразы — и я знал: уснула. Третий круг. Иногда четвёртый, если день был тяжёлым. Я запомнил это, как запоминаешь звук двигателя своего байка, не нарочно, а пото-

му что слышишь каждый день.

Сейчас тишина. Она не поёт. Замкнуло, наверное, стыдом, или страхом, или тем и другим. И отсутствие привычного звука давит сильнее всего, что случилось за вечер, потому что пение означало, что она в порядке, что она дышит, способна петь, а тишина подтверждает, что не в порядке.

Дыхание. Слышу через стену рваные вдохи, потом тишина, и снова вдохи. Не засыпает. Ворочается, комкает одеяло; один раз вздыхает так, что гипсокартон передаёт весь диапазон — долгий, тяжёлый выдох, нагруженный всем, что она не сказала и не выкрикнула, и от него я стискиваю зубы, потому что он звучит как слово «устала», только честнее.

Поднимаю руку. Три стука.

Не знаю, зачем. Нет, знаю. Потому что она лежит в темноте без голоса, а кто-то ковыряет её замок, и она думала, что этот кто-то я, и теперь понимает, что нет, но между пониманием и ощущением безопасности — километры, и сейчас ей не нужна логика, ей нужно доказательство, что за стеной не угроза.

Тишина. Я считаю секунды — привычка, от которой не избавлюсь, — и когда почти сдаюсь:

Три стука. С той стороны. Тихих, осторожных, как первое слово на незнакомом языке.

В грудной клетке медленно сдвигается плита, которая лежала на месте годами и вдруг тронулась. Миллиметр. Доста-

точно, чтобы почувствовать.

Ладонь на стену. Плашмя, всей поверхностью.

Закрываю глаза. Её дыхание за стеной ровнее, чем минуту назад. Медленнее. Тело отпускает, позвонок за позвонком, и я слышу этот процесс, как слышу, когда двигатель переходит с рабочих оборотов на холостые: вибрация меняется, звук оседает, всё становится тише.

Она засыпает. Без песни, но засыпает.

И вот тогда, когда она спит, когда бояться некого и не за кого, когда можно наконец перестать быть тем, кто контролирует, тело предъявляет счёт.

Оно копило весь вечер. С лифта, когда её запах, что-то цветочное и тёплое, заполнил кабину, и я стоял спиной и старался не дышать, но дышал. С коридора, когда она развернулась и в глазах был огонь, живой, обжигающий, и голос дрожал и не сдавался, и кулаки у бёдер побелели, и она была вся как оголённый провод: тронь — убьёт, но не тронуть невозможно.

Она боялась и дралась со страхом, а не пряталась, и от этого невозможного сплава уязвимости и ярости, который вот он, за стеной, маленький, злой, живой, у меня стоит так, что больно.

Член тяжёлый, горячий, и пульсация отдаётся в висках, в горле, в кончиках пальцев, потому что тело не различает, где кончается возбуждение и начинается всё остальное: тревога, злость, нежность, голод смешались в один густой, раскалён-

ный поток, и я лежу в нём, как в горячем металле, и не двигаюсь.

Не прикасаюсь к себе. Не прикоснусь.

Не потому что праведник, не потому что не хочу — хочу, руки чешутся, мышцы живота непроизвольно сокращаются, и от каждого сокращения по члену проходит волна, от которой сводит челюсть. Но сорок минут назад она стояла в коридоре с белыми пальцами и ключами, которые не попадали в скважину, и думала, что я тот, кто стоит у её двери по ночам. Если я сейчас сдамся, а тело умоляет сдаться, стану тем, кого она во мне увидела. Мужчиной, который берёт чужие страх и дрожь и переплавляет в своё удовольствие.

Она не узнает. Она спит. Стена картон, но она уже по ту сторону сна, и мои звуки её не достанут.

Но если ночью я позволю себе это, стоять на кухне утром будет невозможно.

Лежу на спине и дышу, как перед поворотом на мокром асфальте, когда всё зависит от одного градуса наклона. Контроль. Тело не слушается — бёдра напряжены, член упирается в резинку трусов, и каждый удар пульса проходит по всей длине, тяжёлый, низкий, мучительный.

Двадцать минут. Сорок. Час, может быть, — я перестаю считать, потому что счёт требует внимания, а внимание утекает к стене, за которой дышит маленькая злая девочка, у которой кто-то ковыряет замок, а она собирает скриншоты в папку с датами и не просит помощи, потому что не верит,

что помогут, или потому что «попросить» для неё то же, что обнажить горло перед ножом.

Возбуждение не уходит. Отступает острота, из «сейчас, немедленно» превращается в тупую тяжесть, ноющую и постоянную, от которой не задохнёшься, но и не уснёшь.

Лежу и думаю не о ней, — потому что о ней думать опасно, каждая мысль заканчивается в одном месте, — а о замке. Её замке. Алюминиевый цилиндр, стандартный, который застройщик ставит оптом, потому что дёшево и по нормативу. Вскрывается за три минуты набором с китайского сайта. Царапины, которые я видел утром мельком, боковым зрением, и не придавал значения, — параллельные, лучами от скважины, уверенные, от тонкого инструмента с нажимом. Не подросток со скрепкой, не пьяный сосед, перепутавший дверь. Человек, который пробовал, не вскрыл, но вернётся, потому что он из тех, кто возвращается, и каждый следующий шаг ближе к ней физически.

Стальной цилиндрический с защитной вставкой от отмычки — другое дело. У меня в ящике на балконном верстаке свёрла, шуруповёрт и двенадцать лет привычки работать с металлом. Ставится за двадцать минут, если знаешь, что делаешь, а я знаю.

Она не попросит. Я это понимаю так же ясно, как понимаю допуски на сварном шве: не попросит, потому что «попросить» значит признать, что не справляется, а «не справляется» противоречит всему, на чём она стоит. Годы само-

стоятельности не сдаются за одну ночь. Она будет проверять замок три раза, фотографировать царапины, вести аккуратную папку с датами. И будет одна.

Не должна.

Засыпаю поздно, когда тяжесть в паху наконец размывается в общую усталость, и тело сдаётся не потому что отпустило, а потому что выдохлось. Последнее, что помню: ладонь на тёплом гипсокартоне, её дыхание через стену, и решение, принятое не головой, а руками, которые всю жизнь решают за голову и ошибаются реже:

Замок. Завтра.

Глава 10. Мила: Замок

Утром я семь минут стою перед дверью, прижав ухо к дермати́ну, и слушаю коридор.

Тишина. Ни шагов, ни ключей, ни скрипа соседней двери. Я могла бы выскользнуть, добежать до лифта и провести остаток дня, делая вид, что вчерашнего вечера не существовало — как делала с четырнадцати лет со всем, что не помещалось в рамку «нормально». Запечатать, убрать, не вспоминать. Я это умею. Три года практики в роли девочки-панды доказывают: можно быть кем угодно, если настоящая ты в запечатанном ящике.

Но ящик не закрывается, потому что в нём лежит мой крик, и его молчание, и дверь, закрывшаяся без хлопка, и три стука через стену, на которые я ответила, и ладонь на обоях, под которой гипсокартон казался тёплым.

Открываю дверь.

И он, разумеется, потому что вселенная обладает чувством юмора, которое граничит с жестокостью, стоит у своей двери с ключами в руке. В чёрной футболке и джинсах, без кожанки, волосы влажные после душа, и от него пахнет хвоей, чисто и незнакомо.

Полтора метра коридора между нашими дверьми.

Он поворачивает голову. Спокойно, без той ленивой экономности, к которой я привыкла на крыльце, и его глаза на-

ходят мои, и в них нет ни ухмылки, ни прищур, ни того осторожного выражения, которое я видела вчера перед тем, как наорала на него. Ничего. Чистый, ровный взгляд, лишённый любых обертонов, и от этой нейтральности, от его отказа вложить в глаза хоть что-нибудь — обиду, ожидание, вопрос — мне делается совсем тошно.

— Доброе утро. — Голос звучит почти нормально, если не знать, что за этими двумя словами стоит семиминутная репетиция с ухом у двери.

— Утро, — отвечает он и возвращается к замку.

И я стою, и у меня в горле комок, и в животе узел, и я понимаю, что если сейчас не скажу, то этот коридор навсегда останется местом, где я кричала на невинного человека, и каждый раз, выходя из квартиры, я буду смотреть на его дверь и помнить побелевшие костяшки, «я знаю, что это ты», и его лицо, на котором не дрогнуло ничего.

— Я хочу извиниться.

Он не оборачивается сразу. Вставляет ключ, проворачивает и только потом, через плечо, вполоборота:

— За что?

Интонация ровная, замкнутая, как дверь, запертая изнутри.

— За вчерашнее. За всё вчерашнее. Я наорала на тебя за то, чего ты не делал, обвинила в чём-то мерзком, и ты имеешь полное право послать меня к чёрту.

Он поворачивается. Целиком, всем корпусом. Прислоня-

ется плечом к косяку своей двери, и эта поза, знакомая, на секунду возвращает ощущение, что мир не перевернулся.

— Бывает, — роняет он.

Одно слово, без подтекста. И я не знаю, что с ним делать, потому что оно может означать «я понимаю и принимаю», а может — «мне плевать, закрыли тему».

— Не «бывает». — Голос подрагивает, хотя я стараюсь. — Я обвинила тебя в преследовании. В этом коридоре. Это не случайность, это не то же самое, что споткнуться о бордюр.

По его лицу проходит тень — не улыбка, скорее воспоминание о ней, которое он решил не пускать на поверхность.

И тут его взгляд смещается. С моего лица на мою дверь. На замочную скважину.

Он отлепляется от косяка. Делает шаг, приседает на корточки, и движение это, плавное и собранное, выдаёт привычку приседать перед механизмами. Его лицо оказывается на уровне замка, и он смотрит, не отрываясь, потом проводит большим пальцем по скважине, по металлу вокруг неё, по тонким лучеобразным царапинам, которые я фотографировала.

— Давно? — спрашивает он, не поворачиваясь.

— Что «давно»?

— Царапины. Они свежие. Металл не окислился, значит, не больше нескольких дней. Тонкий инструмент, нажим неравномерный — начинал аккуратно, потом торопился. Не вскрыл, но знает, что делает. — Он встаёт, поворачивает-

ся, и глаза у него другие, не нейтральные, как минуту назад. Внимательные, сфокусированные: он перешёл в режим решения проблем. — Замок заводской, штифтовый, без защиты. Вскрывается шпилькой.

— Я знаю, — отвечаю, хотя не знала до Лизы, и Лиза, наверное, тоже не знала, а гуглила.

— Менять надо.

— Я разберусь. Мне пора.

Он смотрит на меня, и в его взгляде я читаю ту же аналитическую тишину, с которой он смотрел на замок, и понимаю, что для него я сейчас тоже механизм, который работает неправильно: заявляю «разберусь», имея в виду «не знаю как, но не хочу это обсуждать», и он это слышит, и решение у него уже есть. Но он молчит, потому что вчера я кричала на него за то, что он стоял слишком близко, и сегодня он выдерживает дистанцию.

— Ладно. — Поднимается.

В лифте едем молча. Расходимся в разные стороны.

День проходит в той ватной полудрёме, которая наступает после бессонных ночей: тело двигается, а голова отстаёт на полтакта. Я сижу в кафе, где провела утро с Ремарком, с главой, в которой Роберт чинит машину, и мне стыдно за то, что я думаю не о Роберте. Допиваю второй кофе, потом третий, потом понимаю, что кофеин больше не работает, и еду домой.

Квартира встречает привычной, обволакивающей тиши-

ной. Сбрасываю кроссовки, куртку, ставлю чайник. За стеной тихо: он, видимо, уехал к друзьям или на работу, потому что работа у него точно есть. Или... Я стараюсь не думать о том, что у него может быть девушка.

Открываю ноутбук. Конспект по управлению качеством. Пишу. Или делаю вид, что пишу, потому что курсор мигает на одном месте уже десять минут — он бы заметил, он бы сказал «двенадцать слов в минуту», и я ловлю себя на том, что улыбаюсь от этой мысли, и немедленно перестаю, потому что улыбаться воспоминаниям о человеке, на которого недавно наорала, ещё и больно.

Стук. Три коротких удара, от которых я подпрыгиваю на стуле с такой силой, что коленом бью столешницу и ноутбук подлетает на сантиметр.

Подхожу, смотрю в глазок.

Он. Футболка сменилась на тёмно-серую, на плече ремень сумки, из которой торчат ручки инструментов. В руке картонная коробка.

Открываю. Он уже на коленях.

Не «здравствуй», не «можно я». Одним движением сумка на пол, из коробки замок, стальной, тяжёлый, блестящий тем холодным серебристым блеском, который бывает у вещей, сделанных для одной конкретной цели. Шуруповёрт из сумки. Сверло. Он уже работает — ладонь на косяке, глаза на уровне старого замка, пальцы ощупывают крепление привычно и точно, как музыкант находит клавишу вслепую.

— Я не просила.

— Я не просил, чтобы ты просила, — отвечает он, не поворачивая головы, и шуруповёрт жужжит, и первый шуруп выходит из гнезда с тихим хрустом.

Стою над ним в дверном проёме, в домашних шортах и футболке с Тоторо, босая, с незаваренным чаем на кухне и незаконченным конспектом на столе. И злюсь рефлекторно, потому что он пришёл без спроса и делает то, что я должна была сделать сама, и его решение не нуждается в моём одобрении.

И одновременно не могу отвести глаз.

Он на коленях передо мной, и от ракурса сверху вниз кружится голова, потому что я вижу его целиком: широкие плечи под тёмно-серой тканью, мышцы спины, двигающиеся при каждом повороте шуруповёрта, обнажённые предплечья, татуировки от локтей до запястий, густой графичный узор, в котором я снова различаю геометрию и линии, что-то похожее на чертежи в перемешку с цветочными узорами, которых я не замечала раньше. Вены проступают при усилии, когда он прижимает корпус замка к двери и удерживает, пока сверло входит в дерево. Белые шрамы на костяшках.

Его руки работают уверенно, без единого лишнего движения, и я смотрю на них опять и не могу остановиться, потому что в мужских руках, занятых конкретной вещью с конкретной целью, есть особое притяжение.

Он достаёт из кармана шуруп. Зажимает в зубах — привычка, видимо, третья рука, которой не хватает, — и я вижу, как губы смыкаются на металлической шляпке, и между зубами мелькает шарик пирсинга на языке, стальной, маленький. Я знаю, что он есть, видела, когда он говорил на крыльце, но сейчас, вот так, мимоходом, в жесте, который не предназначен для чужих глаз, это как подглядеть.

Он вынимает шуруп изо рта, вставляет, закручивает. Пирсинг мелькнул и исчез, а у меня в голове остался кадр, и кадр не уходит, и от него — металл на языке, мокрый блеск — щёки горят так, что я чувствую жар собственной кожей.

Отворачиваюсь. Стена прихожей: бежевые обои, вешалка, куртка. Нормальные, скучные, безопасные предметы.

— Не обязательно стоять, — бросает он, не оборачиваясь. — Минут десять ещё.

— Это моя дверь и моя квартира. Я могу стоять где хочу.

— Можешь. Но ты стоишь босиком на холодном полу, и у тебя мурашки.

Опускаю глаза. Мурашки поднимаются по голени, мелкие, частые. Не от холода.

— Это от сквозняка. — Возможно, самая неубедительная ложь в моей жизни, потому что окна закрыты, но он не комментирует, и за это я ему почти благодарна.

Ухожу на кухню. Довариваю чай. Стою с кружкой и слушаю: жужжание шуруповёрта, стук, скрежет — он снимает старый замок целиком, потом тишина, потом снова жужжа-

ние — ставит новый. Звуки работы, монотонные и ритмичные, заполняют квартиру присутствием, которого здесь не было никогда, если не считать голоса Лизы из динамика и моего собственного стримерского альтер-эго.

Мужчина в моей прихожей, на коленях, чинит мою дверь.

Допиваю чай, мою кружку, ставлю в сушку, вытираю столешницу, поправляю полотенце — лишь бы руки были заняты, лишь бы не стоять и не смотреть, потому что каждый раз, когда смотрю, глаза соскальзывают вниз, к его рукам, к предплечьям, к этому проклятому пирсингу.

— Готово.

Выхожу. Он стоит уже на ногах, собрал инструменты обратно в сумку. Новый замок, матовый, стальной, тяжёлый даже на вид, сидит в двери как влитой. Старый лежит на полу, выпотрошенный и жалкий, алюминиевый цилиндрик, который защищал мою квартиру с той же надёжностью, с какой бумажная стена защищает от тайфуна.

В его ладони два ключа на кольце. Новые, блестящие, с насечками сложнее, чем у старых.

Протягивает.

Я тянусь, и наши пальцы соприкасаются: его — горячие от работы, с мелкой металлической пылью на подушечках, и мои — холодные. И от этого контакта, трёх квадратных сантиметров кожи, меня пробивает разрядом от пальцев до локтя, и рука отдёргивается сама, и ключи звякают в воздухе, и он успевает их поймать, прежде чем они упадут.

Мой рефлекс. Касание — отдёргнуть. Автоматизм, который живёт в теле дольше, чем я себя помню.

Он замечает. Он замечает даже смену интонации, когда я говорю слово «невыносимый», которую я не замечаю сама, а тут полметра и вздрогнувшая рука. Не комментирует. Кладёт ключи на полку у зеркала, рядом с моими старыми, и убирает руку.

Прихожая тесная, два на полтора, и он в ней как мебель, которая не помещается: плечи перегораживают проход, сумка с инструментами касается стены, и если я сделаю шаг вперёд, мы окажемся в том радиусе, где я почувствую тепло его кожи без прикосновения. Я не делаю шаг вперёд. Стою у кухонного проёма и держу дистанцию, и он это видит, и держит свою — зеркально, как два человека, которые знают, где проходит линия, и не переступают.

— Если что — стучи в стену.

Пауза. Достает телефон. Показывает экран с номером.

— Или звони.

Достаю свой. Забиваю номер. Палец висит над полем «имя».

— Как записать?

— Как хочешь.

Набираю: «Стена». Он видит — скользящий взгляд на мой экран — и по его лицу проходит быстрое тепло, которое он прячет мгновенно.

Сохраняю. Убираю телефон. Он закидывает сумку на пле-

чо, берёт коробку из-под замка, подбирает старый замок, не оставляя следов, как будто его здесь не было, как будто новый замок возник сам.

В дверях, уже одной ногой в коридоре, останавливается, поворачивает голову. Тёмные глаза, и в них наконец тень знакомого: не ухмылка, но её предчувствие, лёгкое, почти незаметное.

— И на будущее: у маньяка, помимо прочего, должно быть свободное время. — Он перекидывает сумку на другое плечо. — А у меня ипотека, байк и сопромат с пересдачей. Ещё одну активность я не потяну.

Дверь закрывается. Я стою в прихожей и смотрю на новый замок, стальной и матовый, на ключи на полке, на место, где он стоял, и в горле ком, но не вчерашний: этот тёплый, круглый, и от него не задыхаешься, а наоборот, хочется вдохнуть глубже, потому что воздух в прихожей ещё пахнет хвоей и металлической пылью.

— Он бесит, — жалуясь я Лизе через час, лёжа на кровати. — Пришёл без спроса. С инструментами. Поставил замок. Молча. Забрал старый и ушёл.

— Бесплатно? — уточняет Лиза.

— Бесплатно.

— Молча?

— Говорю же. Практически.

— Мил. — Лиза делает паузу, и в паузе я слышу, как она берёт кружку, отпивает, ставит обратно. Её жест для серьёз-

ных разговоров. — Он бесит, пугает, ты на него наорала, а он пришёл и поставил замок. Бесплатно. Молча. Не напрашиваясь на благодарность, не ожидая ничего.

— Это нарушение границ.

— Он поставил тебе стальной замок вместо алюминиевого после того, как ты рассказала, что кто-то ковыряет скважину. Это не нарушение границ, это их укрепление. Буквально, Мил, замок на двери.

Молчу. Лиза тоже молчит, и в этой тишине, в тысяче километров между нами, мы обе понимаем то, чего я не произнесу.

— Я не знаю, что с этим делать, — признаюсь я наконец, и голос тише, чем хочу.

— С замком?

— С ним. С тем, что он делает вещи, после которых я должна чувствовать благодарность, а вместо этого чувствую...

Замолкаю, потому что слово, которое подходит, не из тех, которые я произношу вслух.

— Что чувствуешь?

— Ничего. Спокойной ночи, Лиз.

— Мил.

— Спокойной ночи.

Кладу телефон экраном вниз. Одеяло. Потолок. Полоска фонаря.

За стеной тишина, потом шаги, потом вода на кухне. Его

вечерний распорядок, который я знаю как свой, разворачивается по ту сторону в привычной последовательности: чайник, кружка, стул, стол. Длинная рабочая тишина, наверное, сидит над сопроматом. Потом стул отодвигается, шаги в ванную, вода.

Я лежу и слушаю, и теперь, когда каждый звук подписан, когда я знаю, чей чайник щёлкает и чьи шаги пересекают кухню, слушать одновременно интимнее и проще. Проще — потому что исчез безликий, незнакомый, опасный сосед, которого я боялась, и на его месте конкретный человек, который ставит замки и шутит про ипотеку. Интимнее — потому что конкретный человек, стоящий на коленях в моей прихожей с шурупом в зубах, это образ, от которого мне не избавиться до конца жизни.

Беру телефон, экран бьёт по глазам. Контакты, «Стена». Пять букв, в которых уместилось всё.

Закрываю глаза, и кадр, непрошенный, возвращается: его губы на шурупе, стальной шарик пирсинга между зубами, мокрый блеск. Мелькнул и исчез, а в голове остался, как бас тяжёлой музыки за стеной, который чувствуешь рёбрами.

Шарик на языке. Маленький, тёплый, потому что во рту всё тёплое. Каково это, когда такой шарик касается кожи? Не пальцев — кожи. Тонкой, чувствительной. Шеи, например. Того места под ухом, где пульс проступает, где кожа натянута и каждое прикосновение ощущается втрое сильнее, потому что нерв близко.

Или ключицы. Впадинки между ключицей и шеей, куда собирается вода после душа, где кожа пахнет теплом и мылом. Его язык, горячий, мокрый, и шарик, твёрдый и гладкий на фоне мягких тканей.

Или ниже.

Рука скользит под резинку трусов. Медленно, не так, как в прошлые разы, когда я отдавала своему телу долг, который оно требовало, — яростно, зло, с ненавистью к собственной слабости. Сейчас иначе. Пальцы ложатся на горячую, набухшую кожу, и первое прикосновение, круговое, осторожное, отзывается в коленях, и я подтягиваю ноги, и одеяло комкается у бёдер, и это не отчаяние, не воровство чужого ритма через стену. Это любопытство. Моё. К себе.

Закрываю глаза. Его руки в моей прихожей — на двери, на замке, на инструментах. Вены на предплечьях, напрягающиеся при каждом обороте сверла. Шрамы на костяшках. Пальцы, которые зажимают шуруп, вставляют, закручивают — точные, сильные, привыкшие к мелкой работе. Как бы эти пальцы двигались по коже? С той же точностью, с тем же спокойным знанием, с каким он находил нужный угол для сверла?

Палец двигается быстрее. Мокро было с того момента, как я увидела пирсинг, если честно, но я отказывалась это признавать, стоя на кухне с пустой кружкой. Сейчас признаю. Сейчас, в темноте, под одеялом, я могу позволить себе честность, которую не позволяю при дневном свете.

Он стоял на коленях в моей прихожей. Передо мной. Если бы я протянула руку, коснулась бы волос. Тёмных, пахнущих хвоей. Он бы поднял голову, и его лицо оказалось бы на уровне моего живота, моих бёдер, и его глаза, тёмные, серьёзные, без ухмылки, смотрели бы снизу вверх. И от этой воображаемой картины всё тело прошивает судорогой, и я прикусываю губу, и палец ускоряется, и второй ложится рядом, и я нахожу правильный угол и нажим.

Его голос. Низкий, ровный. «Если что — стучи в стену». И то, как он это произнёс — буднично, как будто стена нормальный канал связи, как будто стучать через гипсокартон обычное дело между людьми, которые спят в десяти сантиметрах друг от друга и делают вид, что этих десяти сантиметров достаточно.

Кончаю тихо, прикусив нижнюю губу, мягкой, тёплой волной, которая начинается в точке под пальцами и расходится вверх по животу, по рёбрам, до горла, и оседает в основании черепа тяжёлым, гудящим теплом. Ноги выпрямляются, мышцы отпускают, и я лежу, разбросанная по кровати, с мокрой рукой на животе и прерывистым дыханием, которое выравнивается медленно, полутонами.

Стыда меньше. Это не значит, что его нет, он есть, но тише, чем раньше.

Страх больше. Потому что фантазии имеют адрес и лицо, и лицо живёт за стеной, и завтра утром я выйду в коридор, и он, может быть, выйдет тоже, и мы снова окажемся в

полтора метра друг от друга, и он посмотрит на меня, и я буду знать, а он — не будет, что прошлой ночью я кончала, представляя его язык на моей коже.

Переворачиваюсь на бок. Утыкаюсь лицом в подушку. Подушка пахнет стиральным порошком и чуть-чуть хвоей, или это мне кажется, или запах просочился из прихожей, когда он стоял в ней и работал, или я просто схожу с ума и приписываю подушке запахи, которых в ней нет.

Хочется написать. Что-нибудь. «Спасибо за замок». Или «спокойной ночи». Или просто символ, что-нибудь, что пересечёт эти десять сантиметров не стуком, а словом. Но я не пишу, потому что написать — это открыть дверь, которую я не знаю как закрыть, а я девочка, которая всю жизнь закрывала двери, и открывать не умею. И боюсь, и хочу, и от этого «хочу и боюсь» одновременно тянет внизу живота, уже без возбуждения, просто тянет, как тянет мышцу после нагрузки, к которой она не привыкла.

Кладу телефон экраном вниз.

За стеной дыхание. Я знаю чьё. Знаю чьи руки, чей пирсинг, чей голос. Знаю, как он стоит на коленях и зажимает шуруп в зубах, и как мелькает стальной шарик, и как пахнет его кожа после душа, и как он говорит «бывает» голосом, в котором нет ни обиды, ни прощения, только факт.

Хочется. И страшно. Но я боюсь не его — себя. Того, что я не знаю, как быть рядом с кем-то, кто ставит замки без просьбы и стучит в стену после того, как на него наорали.

Того, что расстояние, которое я строила шесть лет, он не ломает и не штурмует, а просто стоит рядом с инструментами и ждёт, пока я сама решу, открывать ли дверь.

Глава 11. Рэм: Диагноз

В гараже пахнет остывшим бетоном и сигаретным дымом, который въелся в стены так давно, что стал частью архитектуры.

Санёк сидит на диване, ноутбук на коленях, и уже пятнадцать минут доказывает Дэну, что шашлык на балконе девятого этажа не правонарушение, а культурный код, и если мясо получилось хорошим, то закон должен учитывать это как смягчающее обстоятельство.

— Дэн, ты будущий юрист, ты же должен понимать. Есть буква закона, а есть здравый смысл.

— Буква закона говорит: открытый огонь на балконе, штраф. Здравый смысл говорит, что ты идиот.

— А если без открытого огня? Если электрогриль?

— Электрогриль не шашлык. Шашлык — это угли, дым и соседи, которые звонят в МЧС. Ты хочешь именно это, потому что тебе нравится драма.

— Мне нравится мясо! Драма побочный эффект!

— Побочный эффект — это когда ты прожёл линолеум у Маратика и сказал, что «так было».

Маратик переворачивает страницу, не поднимая глаз.

— Так не было. У меня есть фотографии «до». И я теперь всегда буду фотографировать состояние квартиры перед каждым визитом Санька.

— Маратик, это параноидальное поведение.

— Это доказательная база. Дэн подтвердит.

Дэн кивает так, будто ему предъявили неопровержимый аргумент:

— Подтверждаю. В суде это пройдёт.

— Какой суд?! — Санёк всплёскивает руками так, что нотбук съезжает с коленей. — Я прожёл пятно размером с монету!

— Размером с ладонь, — поправляет Маратик.

Кир стоит у стены, наушник в одном ухе, телефон в руке. Экран я не вижу, но по тому, как время от времени его большой палец замирает на полупрокрутке, задерживается, будто ловит кадр, я знаю, что он опять смотрит нарезки со своей витубершей. Он не скрывает этого, но и не обсуждает, и в Своре это приняли как данность.

— Кир, — Санёк радуется возможности перевести огонь с себя, — ты опять залип? У тебя глаза как у кота перед аквариумом.

Кир вынимает наушник. Смотрит на Санька тем своим взглядом, от которого у людей пересыхает во рту, а у Санька не пересыхает, потому что Санёк невосприимчив к угрозам, как тараканы к радиации.

— Нет.

— «Нет» — неинформативный ответ, Кир. Развей, пожалуйста.

— «Нет» — исчерпывающий ответ на вопрос, который не

стоило задавать.

— Дэн, — Санёк поворачивается за поддержкой, — скажи ему.

— Оставь ребёнка. — Дэн машет рукой. — Человек фанатеет от девочки без лица, и это его право, и это нормальнее, чем твоя идея с шашлыком на девятом этаже.

— Она не без лица. — Голос у Кира опускается на полтона. — Она витубер. У неё аватар.

— Кир, — Дэн поднимает обе руки, — я уважаю. Искренне. Просто словосочетание «аватар с ушками» и «объект романтического интереса» в одном предложении вызывает у меня лёгкое когнитивное сопротивление.

Кир фыркает.

— У тебя любое предложение длиннее пяти слов вызывает когнитивное сопротивление, — подмечает Маратик, не поднимая глаз. — При чём здесь романтический интерес вообще...

— Маратик, я поступил на юрфак с первого раза.

— На платное.

— Это был тактический выбор.

Лёха сидит на полу, спиной к дивану, скетчбук на коленях. Карандаш двигается мелкими штрихами, почти неслышно, и только когда Санёк особенно громко возмущается, Лёхина рука замирает на долю секунды, будто звук сбивает ему линию, и продолжает дальше. Он слушает, я это вижу. Лёха всегда слушает, как антенна, которая принимает все часто-

ты одновременно и не транслирует ни одной, пока не решит, что есть смысл.

— У неё голос хороший, — констатирует Кир, и это звучит как точка в разговоре, который для него уже закончился.

Лёха, не поднимая головы, переворачивает скетчбук и показывает, коротко, как фокусник показывает карту. На странице набросок: девочка в наушниках, ушки панды, микрофон, и рот открыт в песне, и в рисунке живёт то, что умеет Лёха и не умеет никто из нас. Линии мягкие, живые, будто нарисованный человек дышит.

Кир подходит ближе.

— По голосу?

— По ощущению, — уточняет Лёха, и это первые слова, которые он произносит за вечер.

Кир смотрит на рисунок, потом на Лёху, и между ними проходит быстрый бессловесный обмен. Кир кивает. Лёха вырывает листок, протягивает Киру и снова возвращается к блокноту.

Я сижу на корточках перед байком, ключ на четырнадцать в правой руке, левая на обтекателе, и кручу гайку крепления зеркала, которое разболталось после торможения. Полоборота. Проверить люфт. Подтянуть. Руки работают, разговор за спиной идёт фоном, привычным, тёплым, как работающий двигатель, а голова в другом месте.

Голова в коридоре. Мелкая стоит в полутора метрах, голос ломается на середине крика, и глаза мокрые и яростные

одновременно, и она не отступает, хотя я тяжелее её вдвое и стою так близко, что чувствую её дыхание. А потом прихожая, другой кадр, наложенный на первый: футболка с Тоторо, голые ноги, мурашки на голеньях, и то, как она отдёргнула руку, когда наши пальцы соприкоснулись на ключах, рефлекторно, бездумно, как от раскалённого металла. Рывок, в котором записана вся биография: касание равно опасность, близость равно боль — урок, вбитый давно и глубоко.

— Слушайте, — начинаю я, и ключ вращается в пальцах, и я не поднимаю головы от хрома, — чисто гипотетически. Если девчонка шарахается от собственной тени, но когда загоняешь в угол кусается как бешеная... это что?

Пауза. Короткая, но плотная, и я чувствую её спиной, как меняется воздух в гараже, когда все одновременно переключают внимание.

Маратик переворачивает страницу. Не поднимает глаз.

— Это травма доверия, Рэм. А чисто практически это значит, что ты влип. Потому что ты гипотетическими вопросами сроду не задавался.

Тишина.

— Секунду, — Санёк садится прямо, ноутбук окончательно съезжает на диван, — секунду, я правильно понял? Рэм. Задал вопрос. Про девчонку. Рэм, который три года с нами и ни разу не рассказывал про «девчонок», вот этот Рэм?

— Я сказал «гипотетически».

— Ты сказал «загоняешь в угол», Рэм. Ты сказал «заго-

няешь». Это личный опыт, это не теория, теоретики не используют слово «загоняешь», теоретики говорят «при определённых условиях субъект проявляет».

— Санёк, отстань.

— Не могу. Физиологически не способен. Это событие года. Дэн, ты свидетель.

Дэн разворачивается в кресле. Его глаза сужаются, и появляется хищное, весёлое выражение, которое у него включается всякий раз, когда он чувствует уязвимость в чужой обороне.

— Та мелкая из столовой? Которая обзывает тебя невыносимым?

Маратик снимает очки, протирает их краем свитера. Жест, который у него означает «я вынужден участвовать в этом цирке, но сделаю это на своих условиях».

— Она сказала «невыносимый» один раз, в нормальном тоне, и ушла. Дэн драматизирует, но факт имел место.

Санёк поворачивается ко мне так, будто ему только что подтвердили: Дед Мороз настоящий, и билет в Великий Устюг уже куплен.

Лёха поднимает голову. Смотрит на меня долго, через всю комнату, тем своим взглядом, в котором нет вопроса, только внимание, собранное в точку. И спрашивает негромко, но так, что все слышат:

— Она боится или ей есть чего бояться?

И от этого вопроса в гараже становится тихо по-настоящему.

му. Потому что Лёха не задаёт вопросов ради разговора. Лёха задаёт вопросы, когда видит что-то, чего не видят остальные.

— Есть.

Лёха кивает, будто ответ подтверждает то, что он уже знает. Возвращается к скетчбуку. Карандаш касается бумаги, и шорох грифеля — единственный звук в гараже, прежде чем Санёк открывает рот.

— Ладно. — Голос у Санька становится другим, без балагана, без подколов. — Ладно, Рэм. Что за ситуация? Ей угрожают?

— Пока разбираюсь.

— «Разбираюсь» это что? — Дэн подаётся вперёд. — Ты один разбираешься или нам подключаться?

— Когда нужно будет, скажу.

Маратик надевает очки обратно, раскрывает книгу и произносит, не глядя ни на кого:

— Когда будет нужно, мы уже будем в курсе. Потому что Санёк физиологически не способен ждать, Дэн не способен не лезть, а Лёха уже предусмотрел все форс-мажоры, включая нашествие слоновьей саранчи.

Лёха чуть приподнимает уголок рта.

Кир вынимает наушник, и я вижу, что он слушал весь разговор, от начала до конца, и лицо у него другое, чем минуту назад.

— Если ей нужно место, — предлагает он, — у моей ба-

бушки квартира пустая стоит. Второй месяц. Ключи у меня.

Пауза. Короткая. Санёк смотрит на Кира, потом на меня, потом обратно на Кира. Молчит.

— Спасибо, правда. Пока не нужно.

Кир кивает и надевает наушник. Разговор заканчивается, не потому что тема исчерпана, а потому что Свора работает так: информация принята, готовность обозначена, остальное — когда появятся новые вводные. Без давления и долгих расспросов, без необходимости объяснять больше, чем хочешь. Доверие, построенное не на словах, а на годах совместного молчания на скорости сто восемьдесят.

Санёк возвращается к ноутбуку, но спор про шашлык не возобновляется. Дэн крутит в пальцах зажигалку, задумавшись. Маратик читает или делает вид, что читает, потому что страница не перевернулась ни разу за десять минут. Лёха рисует.

Я возвращаюсь к гайке. Полоборота. Проверить люфт. Затянуть.

Еду домой поздно. Город, пустые улицы, фонари, мокрый асфальт после короткого майского дождя, который прошёл, пока мы сидели в гараже, и оставил после себя запах чистого бетона и мокрых тополей. Мотоцикл идёт мягко, шина шуршит по влажному, и голова пустеет на повороте — угол, скорость, сцепление — на три секунды ничего, кроме физики, а потом прямой участок, и всё возвращается.

Дом. Парковка. Подъезд. Коридор.

Её дверь закрыта. Новый замок блестит в свете коридорной лампы. Полтора метра между порогами и десять сантиметров гипсокартона.

Захожу. Ключи на полку. Куртку на крючок. Душ, горячий, короткий.

Стою на кухне с мокрыми волосами и полотенцем на плечах, и за стеной голос.

Её голос. Но не тот, которым она мурлычет перед сном, и не тот, которым она кричала в коридоре — третий: звонкий, дерзкий, с растяжкой на гласных и хрипотцой на низких нотах, с подачей человека, привыкшего заполнять собой эфир. Голос, который я слышу каждый вечер фоном и каталогизировал как «соседка разговаривает», не задумываясь, с кем именно она разговаривает и почему её «разговор» звучит как выступление.

Замираю с полотенцем в руках.

Потому что этот голос я слышал не только через стену. Слышал его в гараже, из Кирова ноутбука, из динамика. Нарезка стримов, аниме-аватар с ушками, ник КамиПанда, и Маратик сказал «чистое интонирование на переходных нотах», и я сидел у байка с тряпкой и думал «что-то знакомое, манера», и мысль мелькнула, недооформленная, и ушла.

Вот она — вернулась, оформилась.

Пазл сходится медленно, со скрежетом, как створки, которые не трогали годами, и каждый кусок ложится на место с тяжестью, которая оседает в грудной клетке.

Мелкая с крыльца. Серая куртка, хвост, глаза в пол. Девочка, чья главная стратегия не существовать. И она же КамиПанда. Тысяча зрителей, караоке, голос, от которого Кир не может оторваться, а Маратик ставит диагнозы по нотам. Два человека в одном теле, разделённые кнопкой микрофона: нажала, и вот Ками, громкая, живая, бесстрашная; отжала, и вот Мила, тихая, зажатая, проверяющая замок три раза перед сном.

И если у Ками есть аудитория, и в аудитории есть кто-то, кто создаёт аккаунт за аккаунтом, кто кладёт рисунки на коврик, значит, этот кто-то нашёл не просто адрес. Он нашёл шов. Место, где Ками превращается в Милу. Место, где громкая становится тихой, а бесстрашная уязвимой.

Полотенце падает на пол.

За стеной она смеётся, заразительно, с всхлипом на конце, и подкалывает кого-то в чате, и голос у неё свободный, наполненный, и я стою на кухне и думаю о том, что она смелая только за пикселями. Что вся эта дерзость существует в периметре, ограниченном монитором, микрофоном и аватаром, а за периметром девочка, которая вздрагивает от прикосновений и носит куртку как щит.

Сталкер это не её паранойя. Это реальный человек, который знает её адрес и стоит у двери по ночам с тонким инструментом и терпением, которое не заканчивается.

Ложусь, свет выключен.

Она заканчивает стрим. Стул, шаги, вода, кровать. Мелоч-

дия перед сном, по кругу, замедляясь, и голос тает на третьем витке, и тишина. Уснула.

Лежу с ладонью на тёплом гипсокартоне, и я знаю обе её версии, тихую и громкую, и шов между ними, и от этого знания становится сложнее дышать.

Не от голоса. Не от смеха в микрофон. От всей конструкции целиком: от того, как она поделила себя, и как живёт на границе между ними, и как кричала на меня в коридоре, потому что граница треснула. И две Милы на секунду стали одной, и эта одна была такой яростной и живой, такой раскалённой, что от воспоминания кровь бьёт в пах толчками в ритме пульса.

Я знаю, как она звучит, когда засыпает, когда злится, когда шутит на тысячу человек. И хочу знать, как она звучит, когда — и здесь я стискиваю челюсть, потому что мысль заходит в территорию, из которой нет возврата.

Лежу и дышу, четыре счёта вдох, четыре выдох, и слушаю её ровное дыхание через стену, и инстинкт, который велит подняться и встать между ней и всем, что ей угрожает, мешается с тем, что ниже, темнее, и что не описывается словом «защита» и не лечится дыханием по счёту.

Засыпаю поздно, тяжело, с ладонью на стене и решением, которое оформится утром, но уже живёт в кулаках: я найду ублюдка с маркером. И мне не потребуется гипотетический вопрос, чтобы понять, что с ним делать.

Глава 12. Мила: Гречка и предел прочности

Я не сплю.

Не «мало сплю» и не «плохо сплю». Не сплю вообще, ноль. Лежу на спине и слушаю тишину с тем напряжённым вниманием, которое обычно приберегают для последней сцены триллера, только триллер длится шесть часов и финала не предусматривает. В четыре ночи мне кажется, что в коридоре шаги. Я вскакиваю, стою у двери, пока не начинают неметь ступни, и в конце концов понимаю, что шаги мне приснились. Хотя я не спала. Значит, не приснились, а пригрезились, значит, мозг перешёл на ту стадию недосыпа, где реальность начинает подтекать по краям.

В двери стоит новый замок, тяжёлая холодная сталь, и каждый раз, когда я его проверяю, пальцы находят металл, и внутри становится спокойнее. Как будто этот замок не просто механизм, а часть человека, который его поставил, и часть его спокойствия передаётся через сталь.

Утро, кампус. Я иду к корпусу, и мир вокруг мутный, отстающий на полкадра, как видео на плохом соединении, и каждый встречный превращается то в лист на коврике, то в царапину на замке. Лица мелькают и расплываются, и я не могу отличить тревогу от реальности, потому что они пере-

мешались до одного цвета, серого и тошнотворного.

Олег встречает у аудитории с латте и улыбается мягко, как всегда.

— Мил, ты выглядишь ужасно. Когда ты последний раз нормально спала?

— Нормально.

— Это не ответ на вопрос «когда», это ответ на вопрос «как», и он неубедительный. Давай после пар я провожу тебя до дома? Мне спокойнее будет.

— Не надо, Олег. Правда. Я справлюсь.

— Я знаю, что справишься. Но зачем справляться одной, если можно не одной?

Он прав. Олег произносит то, что должен произносить хороший друг, с тем тёплым нажимом, который три месяца назад казался заботой, а сегодня, на третьи сутки без сна, ощущается как ещё одна задача, требующая ресурса, которого у меня нет.

— Я справлюсь, — повторяю, и в голосе появляется интонация, которую я не планировала. Олег замечает и отступает мягко, всем видом обещая: я понял, не настаиваю, но я здесь, когда будешь готова.

У меня нет сил даже на то, чтобы стыдиться.

Столовая.

Беру поднос: гречка с котлетой, стакан компота. Стандартный набор выживания, который не требует ни вкуса, ни аппетита, только рук, несущих поднос к столу, и челюсти,

которая жуёт. Иду к своему углу, к стене, куда сажусь каждый день, спиной к кирпичу, лицом к залу, и на полпути тело, идущее слева, входит в моё плечо так, что поднос вылетает из рук.

Пластик глухо бьёт об пол, звенит стакан, гречка расплывается по линолеуму мокрым веером. Котлета откатывается под соседний стол, как сбежавший хомяк. Компот выплёскивается мне на кеды и растекается по белой подошве тёмным пятном, похожим на место преступления.

Парень крупный, с тупой ухмылкой, из тех, кто занимает проход целиком не потому что широкий, а потому что мир обязан расступаться. Он оборачивается и ржёт, не извинившись и не наклонившись поднять, без единого движения, которое сделал бы нормальный человек, сбивший чужой обед на пол. Просто стоит и смеётся, и его дружки за соседним столом подхватывают, и столовая на секунду сужается до этого смеха, который бьёт по нервам, уже оголённым, как кипяток по ожогу, потому что это я уже проходила. В школе.

Меня накрывает. Стою над россыпью гречки с пустыми руками, и лицо горит. Горит не от стыда, от бессилия: у стыда хотя бы есть адрес, а бессилие разлито везде. В трёх сутках без сна, в каждом «сладких снов», и вот теперь ещё отголоском прошлого на полу столовой, перед ржущим идиотом, который даже не знает, что сделал, потому что для него это не событие, а проходной эпизод, забытый через десять

секунд.

А потом смех обрывается.

Не стихает и не сходит на нет, а обрывается, как будто звук перерезали ножницами. И я вижу почему: за спиной парня стоит Рэм.

Он не произносит ни слова. Не трогает парня, не хватается за плечо, не разворачивает. Просто стоит вплотную, настолько близко, что парень чувствует чужое присутствие за тылком, оборачивается и упирается взглядом в чёрную футболку на уровне своих глаз, потому что Рэм выше его на голову, и приходится задрать подбородок, чтобы найти лицо.

И это лицо не обещает ничего хорошего. Ни ухмылки, ни ленивой иронии, к которой я привыкла на крыльце. Глаза тёмные, неподвижные, как вода в глубоком колодце, смотрят сверху вниз с выражением, которое нельзя назвать злостью, потому что злость горячая и подвижная, а это — полная противоположность. И у парня меняется лицо: ухмылка стекает вниз, к гречке, на смену ей приходит растерянность, а за растерянностью то, что у мужчин выглядит иначе, чем у женщин, но называется так же. Страх.

Рэм молчит. Парень сглатывает, и я вижу, как дёргается кадык.

— Извини, — бросает парень, но не мне, а куда-то в сторону пола, и нагибается, и поднимает поднос, и ставит на ближайший стол, и уходит быстро, не оборачиваясь, с той поспешностью, которая выглядела бы комично, если бы мне

не было так тошно.

Рэм не смотрит ему вслед. Он смотрит на меня, и по его взгляду проходит движение, которое я не успеваю прочесть, потому что сил нет даже на собственные эмоции. Потом он берёт свой поднос, нетронутый, и ставит передо мной на стол. Молча. Разворачивается и уходит к своим, к угловому столу, где его друзья уже заняли привычные позиции и, судя по лицам, наблюдали всю сцену с интересом антропологов, обнаруживших новый вид приматов.

Я стою перед его подносом и не могу двинуться, потому что он только что отдал мне свой обед. Не купил второй, а отдал свой, и ушёл, как будто это ничего не стоит, как будто здесь та же арифметика, что и с замком: проблема, решение, результат.

Сажусь. Беру его ложку. Суп горячий, куриный, с вермишелью, и я ем, вкус пробивается через три дня тумана и оседает под рёбрами тёплым тяжёлым комком, и глаза жжёт, но слёзы не выходят, потому что столовая не место, я не плачу на людях, не плачу нигде.

Олег садится напротив. Как всегда, тихо, с латте, который я даже не видела откуда он взял.

— Он больной на всю голову, Мил. — Олег кивает в сторону Рэма. Голос ровный, участливый, с тем оттенком беспокойства, который я привыкла ассоциировать с заботой. — Держись от него подальше. Он просто рисуется. Такие парни делают всё напоказ: стоят, молчат, пугают взглядами. Это

для эффекта.

Я смотрю на спину Рэма через три стола, на то, как он садится без подноса, громкий парень наклоняется к нему с какой-то фразой, и он качает головой, а красавчик молча двигает к нему свой хлеб, и Рэм берёт и ест. Ни слова. Ни жеста. Будто ничего не произошло.

И впервые за всё время, что Олег сидит напротив меня в этой столовой и озвучивает правильные вещи, до меня доходит: он не знает, о чём говорит. Он не знает Рэма. Его «держишься подальше» — совет, основанный ни на чём. А «такие парни» не характеристика, а категория, в которую Олег поместил незнакомого человека на основании того, что тот отличается и сделал то, чего Олег не сделал: встал и решил проблему. Молча.

Ночь.

Квартира давит. Стены сужаются, потолок проседает, и тишина не пустая, а набитая ватой, вязкая и душная, ложится на грудь и не даёт вдохнуть. Четвёртая ночь почти без сна, и тело вышло из зоны усталости в новое пространство, где на низкой частоте гудят мышцы и кости и где каждый звук извне прилетает с усилением, как через динамик с хрипящим контактом.

Проверяю замок. Фонариком на скважину: чисто, ни одной царапины. Два поворота ключа, цепочка, подёргать ручку. Всё закрыто.

Но это не помогает.

Потому что замок это дверь, а дверь угроза рациональная, и рациональную угрозу можно закрыть на два оборота и цепочку. А то, что не помогает, иррационально. Это тишина в пустой квартире, в которой я одна, и одиночество никогда не становилось проблемой, оно было бронёй и выбором, а сейчас оно давит, и воздуха не хватает. И я не понимаю, когда именно «мне не нужен никто» превратилось в «мне нужен кто-нибудь, пожалуйста, хоть кто-нибудь, за стеной, в коридоре, в соседней комнате, лишь бы не одной».

Стою посреди комнаты в трусах и футболке, босая, обхватив себя руками. Тишина гудит. В голове белый лист с двумя глазами, и «сладких снов, Ками», и Лизин голос: «каждый день он физически ближе к тебе».

Подхожу к стене. Прижимаю ладонь. Гипсокартон тёплый или холодный, я уже не различаю, потому что мои собственные руки ледяные, и всё, чего касаюсь, кажется теплее меня.

Три тихих стука костяшками.

И я не знаю, зачем стучу. Нет, знаю. Потому что он сказал «стучи в стену», а не «звони, если пожар». Как язык, который мы придумали молча и который состоит из трёх ударов и значит: ты там?

Он спит. Конечно, спит, сейчас почти два ночи, нормальные люди спят в два ночи, а я стою у стены и стучу, как идиотка, в чужой сон, в чужую жизнь, которая не обязана отвечать на мой страх только потому, что находится в десяти

сантиметрах, и —

Три стука с той стороны, тяжёлых и уверенных. Как будто он не спал, а лежал и ждал.

Звук проходит через стену, через мою ладонь, через кожу и кости и попадает прямо в то место под рёбрами, где последние ночи жил страх. И страх не уходит, но рядом с ним встаёт тепло, плотное, занимающее место, и от этого становится легче, глаза жжёт, и я прижимаюсь лбом к прохладным бумажным обоям и стою так.

Он там. За стеной. Проснулся или не спал. Ответил.

Три стука, и между ними десять сантиметров, которые сейчас, ночью, в тишине пустой квартиры, ощущаются не барьером, а расстоянием, которое можно преодолеть голосом или теплом тела, нагревающим стену с двух сторон.

Я стою лбом к обоям, и мне страшно, и мне тепло, и от этого сочетания в одном теле и от одного источника со мной происходит то, чего я не контролирую и не хочу контролировать. Низ живота наливается тяжестью, и это не похоже ни на что прежнее: не рефлекс и не ворованный ритм чужого дыхания, а моё собственное, идущее изнутри, из осознания, что этот огромный мрачный невыносимый человек прямо сейчас лежит за этой стеной, и он не спал, и он ответил мгновенно, как будто его рука уже была на гипсокартоне, когда мои костяшки коснулись с этой стороны.

Влажный жар спускается вниз медленно и густо, и я чувствую, как трусы становятся мокрыми от одной мысли, от од-

ного знания: он здесь, он рядом, он дежурит за моей стеной, и ему не нужно для этого ни причины, ни просьбы. Он просто здесь. И его «здесь» не обещание и не слова, а три удара костяшками, тяжёлых и уверенных, от которых мои колени подгибаются, а бёдра сжимаются сами.

Стою лбом к стене с закрытыми глазами, дыхание рваное, и гадаю, слышит ли он, как я дышу, и от мысли, что слышит, становится хуже и лучше одновременно.

Невозможно, так не бывает.

Ложусь, натягиваю одеяло. Сжимаю колени, вдавливаю лицо в подушку и лежу так, пока жар не отступает настолько, чтобы можно было закрыть глаза и не видеть его лицо на обратной стороне век.

Засыпаю впервые за четыре ночи по-настоящему, глубоко и тяжело, и последнее, что слышу перед тем, как сон накрывает с головой, его дыхание через стену. А может, мне просто кажется. И пусть.

Я могу уснуть, потому что он не спит

Глава 13. Рэм: Кожа и бензин

Утро начинается с коридора.

Я выхожу на три минуты раньше обычного. Не потому что опаздываю, а потому что за стеной она встала в шесть сорок, и я слышал, как щёлкнул чайник, как вода ударила в раковину, как зашумел фен, и теперь считаю минуты до того, как её дверь откроется, потому что между этой дверью и подъездом коридор, лифт, вестибюль, парковка, и на любом из этих отрезков может стоять человек с хирургическим терпением и проблемами с головой. А я до сих пор не знаю, кто это, и от этого факта у меня с четырёх утра ноет челюсть, как будто всю ночь стискивал зубы.

Так и было.

Её замок щёлкает, тяжёлый, стальной, и я стою у своей двери с ключами, якобы запираю, хотя запер полминуты назад. Она выходит: серая куртка, рюкзак, хвост, наушники на шее, взгляд в пол. Привычная броня, застёгнутая на все пуговицы. Она видит меня, и её шаг чуть замедляется, не останавливается, не сбивается, просто теряет полсекунды темпа, как будто тело ещё помнит вчерашние три стука через стену и не знает, какую дистанцию теперь держать.

— Доброе утро, — здоровается она, не поднимая глаз.

— Утро.

Она проходит мимо, и я иду следом, не рядом — в четы-

рѣх шагах сзади, достаточно, чтобы видеть коридор целиком: двери, углы, лестничный проѣм, слепую зону у мусоропровода. Лифт. Она нажимает кнопку, я встаю у стены, не рядом, не напротив, а сбоку, так, чтобы между нами оставалось пространство, в которое она не вжимается, и чтобы мне был виден индикатор этажей и коридор за её спиной одновременно. Она этого не замечает. Или замечает и не показывает.

На первом этаже пусто, утренний свет пробивается через грязное стекло, двор тоже пуст: мокрый асфальт, детская площадка, три машины на парковке. Я сканирую периметр быстро, привычно, как проверяю зеркала на байке перед перестроением, не параноидально, а так, как делает человек, который понял, что угроза существует и что между ней и объектом угрозы стоит только дешѣвый гипсокартон и он.

Она идёт к остановке. Я — к байку. Разные направления, разный транспорт, и я сижу на байке лишнюю минуту с заведѣнным двигателем и смотрю, как она встаёт под козырьком остановки, маленькая, серая, со сжатыми плечами, и когда автобус забирает её и трогается, я выдыхаю и только тогда понимаю, что не дышал.

На парковке кампуса я раньше неё на двадцать пять минут. Ставлю байк, снимаю шлем, закуриваю и жду, и смотрю на входную аллею, не на неё конкретно, а на всех, кто по ней идёт: лица, походки, ритмы, кто смотрит в телефон, кто смотрит по сторонам, кто задерживается у корпуса дольше, чем нужно. Не знаю, кого ищу. Знаю только, что он су-

шествует и что он достаточно внимателен, чтобы различать её штриховку и засекаать семь минут разницы в расписании. Такие люди не бросаются в глаза, они врастают в фон, становятся частью пейзажа, и выковырять их оттуда можно, только если смотреть на пейзаж достаточно долго и достаточно зло.

Я смотрю. Долго. Зло.

Она появляется в потоке студентов, серая куртка мелькает между яркими рюкзаками и мокрыми зонтами, и я провожаю её взглядом до крыльца, убеждаюсь, что вошла, и только тогда тушу сигарету.

Санёк подъезжает, за ним Дэн, Маратик, Лёха, и я ловлю его взгляд и киваю, и он кивает в ответ, и утро начинается.

Но фоновый канал не выключается. Он работает весь день — на лекциях, на семинарах, в перерывах: я отслеживаю её расписание по пересечениям в коридорах, запоминаю, когда она выходит, куда идёт, с кем. Не потому что хочу, а потому что не могу перестать, потому что три ночи назад она стояла в коридоре с белыми пальцами и кричала мне в лицо то, что должна была кричать кому-то другому, и этот другой до сих пор ходит по тем же коридорам.

Столовая в полдень.

Я сижу с подносом и вижу её через три стола, в углу, спиной к стене, и рядом дружок с латте, и всё было бы нормально, если бы не одна деталь: его рука на её запястье.

И вилка в моей руке гнётся.

Не сразу, не показательно, просто металл начинает пружинить под большим пальцем, сопротивляется ещё секунду, потом сдаётся с тихим хрустом, который тонет в столовом гуле: ложки по тарелкам, стулья по линолеуму, чей-то смех, разваренная гречка и котлеты, пахнувшие прогорклым маслом, и сладкий химозный чай из пластикового диспенсера, который здесь зачем-то называют «напитком».

Санёк замолкает на полуслове.

Это уже событие.

Он смотрит на вилку, потом на меня, потом туда, куда я не смотрю уже минуту, с таким демонстративным усилием, что, видимо, именно оно меня и выдаёт.

— Ты сейчас прожигаешь дырку в человеке или просто тренируешь периферийное зрение?

— Дыши тише, Санёк.

— Невозможно. Я личность широкого звукового диапазона.

Дэн, развалившийся напротив с видом человека, который пришёл в столовую не есть, а выносить приговоры, поворачивает голову, прослеживает направление моего не-взгляда и находит её за три стола.

Мила сидит в своём углу, спиной к стене. Рукава натянуты до середины ладоней, волосы собраны в хвост так небрежно, будто завязывала на ходу. Перед ней латте в картонном стакане. Конечно, латте. Конечно, с карамелью. Запах жжёного сахара и горячего молока пробивается даже через столовую

гречку.

Дружок, Олег, сидит напротив.

Мягкий. Аккуратный. Улыбка выглажена до стерильности, как накрахмаленная салфетка в ресторане, где никто не ест руками.

Он что-то говорит ей, наклоняясь чуть ближе, чем требует шум столовой, не слишком, нет, он не идиот, всё у него ровно на той границе, где можно сказать «я просто плохо слышу». Его пальцы касаются края её тетради, потом скользят ниже, по столу, к её запястью. Невесомо. Будто случайно. Будто он убирает крошку, которой нет.

Мила не отдёргивается.

Вот что бесит.

Не касание само по себе. Не его рука. Не даже то, что он произносит её имя — «Мил» — так, будто оно уже обжито им, как чужая кружка, из которой он пьёт без спроса. Бесит, что она рядом с ним становится тише. Не спокойнее, не мягче, не расслабленнее. Тише, с плечами, поднятыми к ушам, с кивками вместо слов, с вежливой улыбкой, которая не доходит до глаз, с руками, спрятанными в рукава так, будто пальцы лишнее доказательство её присутствия в мире.

С ним она гаснет.

Со мной вспыхивает.

На крыльце, в библиотеке, у лифта, в коридоре, за стеной, когда отвечает тремя стуками, и от этих трёх тихих ударов у меня внутри сдвигается что-то, что не сдвигалось годами. Со

мною она злится, фыркает, краснеет до ушей, швыряет словами, как камнями, и каждый камень попадает точнее, чем ей кажется, и я хочу — грязно, некрасиво, без всякой благородной упаковки, — чтобы она горела из-за меня. Чтобы её голос становился резче из-за меня. Чтобы она забывала смотреть в пол из-за меня. Чтобы её уши вспыхивали не от чужого «Мил», а от моего «Мила», сказанного на полтона ниже, чем нужно в приличном обществе.

И это не то, о чём я планировал думать сегодня.

Вилка в руке окончательно сдаётся.

Дэн смотрит на неё с искренней скорбью.

— Рэм ревнует. Я записываю для истории.

— Запиши себе завещание.

— Агрессивное отрицание. Классика. А ведь у неё были дети. Маленькие чайные ложечки ждали её домой к ужину.

Маратик поднимает глаза от книги — сегодня у него потрепанная обложка с французским названием, которое Санёк уже пытался прочесть и проиграл на втором слоге.

— Очевидно, эмоциональная нагрузка превысила предел упругости.

— Маратик, иногда я думаю, что ты был зачат на олимпиаде по физике.

— Невозможно. Мои родители познакомились на соревнованиях.

— По физике?

— По кикбоксингу.

Дэн кивает с уважением.

— Это многое объясняет.

Санёк фыркает.

— Например? Его любовь к кикбоксингу?

Я кладу вилку на поднос. Она лежит криво, жалко, с погнутыми зубьями, как насекомое, которое переехали колесом.

— Вы все очень шумные.

Санёк расплывается в улыбке.

— А ты очень тихий. Баланс. Хотя твоё молчание, — он выразительно смотрит на вилку, — весьма красноречиво.

Я не отвечаю, потому что Олег снова произносит её имя, «Мил», гладко, тепло, правильно, и у меня сводит челюсть. Не потому что я имею право. Как раз потому что не имею.

После пар небо рвётся.

До этого оно весь день висит низко, свинцовой крышкой, набухшей влажностью, пахнет железом, тополиными почками и пылью на раскалённом асфальте. А потом щёлк, будто кто-то перерезает стропы, и ливень падает сразу стеной. Не дождь — вода, плотная, тяжёлая, с крупными каплями, которые бьют по крыльцу, по ступеням, по мотоциклам на парковке так громко, что разговоры у входа сбиваются. Асфальт темнеет за секунды, блестит чёрным лаком, и от него поднимается запах горячей пыли, мокрого бетона, бензина и скошенной травы у спорткорпуса.

Я стою у мотоцикла, уже в шлеме, когда вижу её.

На крыльце. Без зонта. Рюкзак на одном плече, куртка застёгнута, наушники на шее, и она смотрит на дождь так, будто это не погода, а уравнение, которое надо решить без права на ошибку.

Рядом Олег.

Разумеется.

У него зонт, чёрный, аккуратный, небольшой, такой, под которым двум людям нужно идти близко, плечом к плечу, локтем к локтю, с запахом чужой куртки у лица и необходимостью подстраивать шаг. Он что-то говорит ей — я не слышу слов из-за дождя, но вижу интонацию по лицу: мягко, правильно, с лёгким нажимом заботы.

Мила смотрит на зонт. Потом на Олега. Потом снова на дождь. И замирает.

У неё всё тело делает этот выбор раньше головы: плечи напрягаются, пальцы сильнее сжимают ремень рюкзака, подбородок опускается на миллиметр. Чужому глазу ничего, девочка думает, как добраться до остановки. Моему видно: она выбирает между холодом и чужой близостью.

И меня срывает.

Двигатель рычит так, что воздух у крыльца вздрагивает. Заднее колесо режет мокрый асфальт, брызги летят в стороны, вода хлещет по визору, по рукавам, по джинсам, забивается под воротник, и байк встаёт у ступеней с коротким визгом тормоза. Несколько человек отшатываются — Санёк бы сказал «эффектно», Дэн — «административно наказуемо».

Мне плевать.

Снимаю шлем. Дождь сразу бьёт по волосам, стекает за воротник кожанки, вода холодная, но кожа под ней горячая, как после мастерской, когда стоишь слишком близко к горелке.

Мила смотрит на меня. Глаза большие, злые уже заранее, до того как я успел открыть рот.

Хорошо. Пусть злится. Злость ей идёт больше, чем эта чёртова вежливая тишина.

Я стягиваю кожанку — мокрая кожа липнет к футболке, тянет за плечи, и запах поднимается плотный: дождь, бензин, дорожная пыль, сигаретный дым из гаража, нагретый металл, въевшийся в подкладку.

Протягиваю ей.

— Надень.

Она смотрит на куртку так, будто я протянул ей контракт с дьяволом, напечатанный мелким шрифтом.

— Я не просила.

Голос у неё тоньше обычного от дождевого шума, но это не мешает ей показывать зубы.

— Я заметил. У тебя с этим системная проблема.

— С чем?

— С просьбами.

Она щурится, дождевые капли цепляются за ресницы, скатываются по щеке, и я ловлю себя на идиотской мысли, что хочу стереть одну большим пальцем. Не стираю. Я не на-

столько тупой. Пока.

— Мне не нужна твоя куртка, — отказывается она.

— А мне не нужен твой героический поход до остановки в мокрой водолазке. Мы оба разочарованы.

Олег делает шаг ближе, зонт наклоняется над ней, и я вижу, как Мила едва заметно уходит плечом в сторону. Вот это движение и добывает — не его слова, не его зонт, а это микроскопическое отступление, которое никто, кроме меня, наврное, не заметил бы: не сейчас, не ближе, не так.

Я смотрю на неё.

— Мила.

Она замирает. Не от страха — от звука. От имени в моём голосе.

Я сам слышу, как оно выходит: ниже, чем нужно, с хрипом на согласной, с вибрацией в горле, которую дождь не съедает. Это не «Мил» Олега, мягкое, гладкое, вытертое до удобства. У меня её имя выходит как вещь, которую опасно держать во рту, но очень хочется.

— Откуда ты знаешь, как меня зовут? — спрашивает она.

Капля висит на краю её нижней губы. Срывается.

Я заставляю себя смотреть ей в глаза.

— Твой латте-курьер говорит «Мил» чаще, чем моргает.

У Олега в лице почти ничего не меняется. Почти. Улыбка остаётся, но глаза на секунду становятся пустыми, как дно металлической раковины, обнажившееся, когда сливают воду.

Мила вспыхивает.

— Не называй его так.

— Как? Латте-курьером?

— Он мой друг.

Вот оно. Слово встаёт между нами, мокрое, аккуратное, правильное. Друг. Я смотрю на неё, и внутри что-то неприятно, глупо, по-мальчишески дёргается.

— Я понял. Именно это и бесит.

Она моргает.

— Что?

— Ничего. Куртку надень.

— Ты всегда командуешь, когда не знаешь, что сказать?

— Когда знаю — хуже.

Её зрачки расширяются — совсем чуть-чуть, как чернила, расплзающиеся по мокрой бумаге.

Я делаю шаг к ней. Медленно. Не потому что играю в хищника, а потому что если подойду резко, она отступит, а если она отступит, я, возможно, сорвусь не туда: в злость, в грубость, в желание поставить её за свою спину и послать весь мир к чёрту.

Это красиво только в кино. В жизни — плохая привычка мужчин, которые путают защиту с присвоением.

Она не отступает.

Стоит на первой ступени, подбородок чуть поднят, мокрые пряди прилипли к вискам. Маленькая. Упрямая. Живая.

Я набрасываю куртку ей на плечи.

Кожа ложится на неё тяжело, сразу делает её ещё меньше: рукава длинные, плечи широкие, воротник почти касается подбородка, и моя куртка пахнет мной, и это ударяет в голову сильнее, чем должно. На ней моя вещь. Моя кожа. Мой запах у её горла.

Пальцы сами поправляют воротник, быстро, практично, так я говорю себе, и большой палец задевает мокрые волосы на её шее.

Она вздрагивает.

Не сильно, не театрально, но я вижу, как по коже под ухом пробегают мурашки, как она на секунду задерживает вдох, как напрягается тонкая связка у горла, и вот тут всё становится опасным, потому что между моим пальцем и её кожей почти ничего: вода, волосы, мокрый край воротника и её тепло под ним. Я могу провести большим пальцем ниже, под ткань, к ключице, туда, где кожа тонкая и пульс бьётся быстро. Могу наклониться и сказать ей на ухо что-нибудь такое, после чего она или ударит меня, или перестанет дышать.

Могу.

И именно поэтому убираю руку. Первым. Почти вовремя.

Она стоит в моей куртке и смотрит на меня снизу вверх, и дождь стучит по козырьку, по асфальту, по её ресницам, по моей футболке, которая уже липнет к груди. Холодная вода собирается у пояса джинсов, а мне жарко так, будто стою не под ливнем, а перед открытой топкой.

Мила вдыхает. Глубже, чем нужно.

Её ноздри едва заметно дрожат, губы приоткрываются, и я понимаю до того, как формулирую: она вдыхает её. Куртку. Мою куртку. Мой запах на себе.

Внизу живота тянет резко, тупо, до злости, член тяжелеет, упирается в мокрую ткань джинсов, и это настолько не вовремя, что хочется рассмеяться, или выругаться, или сесть на байк и уехать, пока мозг ещё обслуживает тормоза.

Вместо этого я улыбаюсь одним уголком рта.

— Если будешь так дышать, я решу, что она тебе нужнее, чем мне.

Её лицо вспыхивает — не розовеет, вспыхивает: щёки, уши, шея под воротником.

— Я просто замёрзла.

— Конечно.

Олег открывает рот — я чувствую это боковым зрением раньше, чем слышу.

— Станный жест, — говорит он, и голос у него спокойный, мягкий, но дождь делает края слов жёстче. — С такими парнями стоит быть осторожнее, Мил. Они делают это для эффекта.

Мила поворачивает голову. Медленно.

И я вижу момент, когда у неё внутри что-то щёлкает, не громко, не драматично, просто позвоночник выпрямляется на пару миллиметров, плечи перестают прятаться под моей курткой, пальцы на ремне рюкзака расслабляются.

— А ты не делаешь?

Тишина. Даже дождь будто на секунду отступает, хотя это невозможно.

— Я просто хотел помочь, — оправдывается он.

Мила смотрит на него.

— Я знаю.

И всё. Ничего больше. Но этого достаточно. Она не выбирает меня, не говорит спасибо, не делает шаг ко мне, не смотрит на меня как на героя — она просто перестаёт быть удобной рядом с ним.

И у меня срывает резьбу.

Потому что, оказывается, иногда человеку достаточно одного «а ты не делаешь?», чтобы захотелось сжечь весь кампус, купить ей сухие носки, сломать кому-нибудь пальцы и не сделать ни одного из этих пунктов, потому что она справится сама.

Я надеваю шлем.

Мила смотрит на мою футболку, прилипшую к груди, на воду, текущую по рукам, по татуировкам, по костяшкам.

— Ты промокнешь.

— Уже.

— Тогда зачем отдал?

— Тебе не идёт серый цвет губ.

— Очень смешно.

— Я не шутил.

Она замолкает.

Дождь бьёт по шее, по волосам, по лицу, вода стекает в глаза, и я моргаю.

— Как тебя вообще зовут? — спрашивает она вдруг.

Я смотрю на неё через открытый визор.

— Артём.

Она пробует имя беззвучно — губы едва двигаются, округляются на первой гласной, смыкаются на последней, и это движение чужого рта вокруг моего имени проходит по мне так, что я стискиваю руль.

— Почему все зовут Рэм?

— Потому что Санёк однажды решил, что Артём звучит как признание в том, что я плачу налоги и ем овсянку.

Она фыркает. Коротко, произвольно, носом, и вот этот звук, маленький, живой, её, попадает мне куда-то под рёбра и остаётся.

— Куртку потом занесёшь.

— А если не занесу?

— Тогда у меня появится повод прийти.

— Ты угрожаешь?

— Предупреждаю.

Она сжимает губы, чтобы не улыбнуться, и у неё почти получается.

Я опускаю визор, пока ещё могу уехать.

Двигатель рычит, заднее колесо проходит по луже, вода летит веером, и в зеркале я вижу её на крыльце — маленькая, мокрая, в куртке не по размеру, с чужим зонтом рядом и

моим запахом у горла. И думаю только одно: она осталась в моей коже.

Домой я приезжаю злой. Не на неё. На себя.

Дорога от кампуса на байке двенадцать минут, если без пробок, а после ливня город вымер, и я прохожу все светофоры на зелёный, как по заказу. Мокрая футболка липнет к телу, джинсы тяжёлые, ботинки хлюпают при каждом шаге. В подъезде пахнет штукатуркой и дешёвым освежителем, «морская свежесть», если морем считать ведро химии.

В квартире стягиваю футболку через голову, бросаю на стул, она падает с мокрым шлепком. Кожа на груди холодная от дождя, но внутри всё ещё жарко, низко, раздражающе. Джинсы давят — расстёгиваю ремень резче, чем нужно. Не помогло. Разумеется.

Перед глазами она в моей куртке. Её вдох. Пальцы на воротнике. Вода на губах. «А ты не делаешь?»

Запрокидываю голову и смотрю в потолок.

— Черт.

Потолок, как обычно, ничего полезного не отвечает.

Душ — холодный сначала, настолько, что кожа стягивается, мышцы живота сокращаются, дыхание выбивает из груди. Потом горячий, потому что я не мазохист, просто иногда тупой. Вода смывает дождь, дорожную грязь, запах мокрого асфальта. Не смывает её взгляд.

На кухне варю чай, хотя хочется кофе, но ночь будет длинной, а я и так на взводе. Кружка греет пальцы. Квартира ти-

хая, слишком: за стеной пусто, её ещё нет. Автобус от кампуса идёт сорок минут, плюс дождь, и я стою с кружкой в руке и считаю чужие минуты, хотя не имею на это права.

Сажусь за сопромат. Пишу — вернее, делаю вид, что пишу, потому что голова отказывается складывать цифры в уравнения, зато с удовольствием складывает картинки: мокрые пряди на её висках, нижняя губа с каплей дождя, мурашки на шее под воротником моей кожанки.

Щелчок замка за стеной. Её замка, тяжёлого, стального, моего.

Шаги — быстрые, лёгкие. Рюкзак стучает обо что-то. Вода в ванной. Тишина.

Она дома.

И от этого знания, простого, бытового, не стоящего ровным счётом ничего, у меня что-то отпускает в грудной клетке, как будто последние сорок минут я не дышал на полную и только сейчас заметил.

Формулы. Эпюры. Изгибающий момент двутавровой балки.

Не помогает.

Потом её голос. Стрим.

Я уже знаю. Теперь знаю точно. КамиПанда — это она: дерзкая растяжка гласных, смех с хрипотцой, быстрые фразы, которыми она занимает собой пространство целиком. За стеной тысяча человек, донаты, аниме-ушки, голос, который Кир слушает так, будто ему кислород подают через наушник.

А в коридоре утром девочка с глазами в пол и бронёй в виде безразмерной куртки. Два режима. Одна Мила. Просто в одном она прячется от мира, а в другом кусает его через микрофон.

Я стою на кухне с остывшим чаем и слушаю, как она смеётся. Смех проходит через гипсокартон, теряет слова, оставляет ритм, неровный, живой, с маленьким всхлипом на конце.

Пальцы на кружке сжимаются.

Я думаю о том, что она час провела в моей куртке. Что кожа впитала дождь и её тепло. Что подкладка лежала у неё на плечах. Что воротник касался её шеи. И что она, скорее всего, не раз подносила его к лицу.

— Великолепно, Артём. Дожил. Заводишься от собственной куртки. Тебе что, пятнадцать?

Она смеётся за стеной. Как будто услышала.

Стрим заканчивается около полуночи.

Я слышу последовательность: голос стихает, стул скрипит, шаги, вода в ванной, потом тишина — не сонная ещё, рабочая, такая тишина бывает, когда человек стоит посреди комнаты и решает, делать глупость или нет.

Я лежу на кровати в футболке и спортивных штанах, руки за головой, взгляд в потолок. Фонарь рисует жёлтую полоску на стене. Десять сантиметров, за ними она. И я стараюсь, честно стараюсь не думать, не вслушиваться, не ждать.

Закрываю глаза. Не помогает.

Стук в дверь.

Не в стену. В дверь.

Три коротких удара — неуверенных только на первом, второй и третий злее.

Улыбка сама тянет уголок рта. Вот и глупость.

Встаю. Не спешу, не потому что играю, а потому что если подойду слишком быстро, она услышит это через дверь, и я не хочу, чтобы она знала, что я ждал.

Открываю.

Она стоит в коридоре. Куртка в руках, на ней домашняя футболка с Тоторо, короткие шорты, босые ноги в резиновых сабо. Волосы влажные у висков после душа, кожа на щеках почти светится.

Она резко протягивает её мне.

— Забери.

Я смотрю на куртку. Потом на неё.

— Уже?

Её пальцы сильнее сжимаются на коже.

— Что значит «уже»?

— Думал, вдруг она тебе пригодится.

— В смысле?

Я прислоняюсь плечом к косяку.

— Тебе же нравится запах.

Она застывает. Сначала полностью. Потом по ней проходит волна — от глаз к горлу, от горла к плечам, от плеч к рукам. Пальцы дёргаются, будто она хочет кинуть куртку мне

в лицо, или в грудь, или убежать вместе с ней.

— Ты невыносимый.

— Ты повторяешься. Но мне нравится, как ты это производишь каждый следующий раз. По-новому.

— А мне не нравится твоё лицо. — Она удивлённо моргает, будто слова, которые вырвались, не сходятся с мыслями.
— Я хотела сказать, выражение лица.

— Значит, лицо нравится?

— Нет!

— Врёшь.

Она вспыхивает.

Вот оно. Огонь. Не тишина, не кивок, не «спасибо, Олег». Она живая, злая, держит мою куртку так, будто это улика против неё самой, и я понимаю, что начинаю проигрывать. Сильно.

Она суёт куртку мне в живот.

Я держу.

Она тоже.

Пауза.

Я опускаю взгляд на её пальцы — тонкие, с короткими ногтями, костяшки белеют от хватки.

— Отпусти.

— Сам отпусти. — И снова это выражение на лице, замешательство от собственных слов.

Голос у неё ровный. Почти. Но пульс на шее бьётся быстро, под кожей, у края воротника футболки, маленький удар

за ударом, и я смотрю на него дольше, чем надо, и она видит, куда я смотрю, и не прикрывается, и от того, что не прикрывается, у меня темнеет по краям зрения.

— Мила.

— Что?

— Если я сейчас потяну, ты окажешься ближе.

Она смотрит мне в глаза. И не отпускает.

Воздух в коридоре густеет. Лампа над лифтом гудит, где-то этажом выше хлопает дверь, по трубам проходит вода — всё далеко, неважно.

Я тяну. Чуть-чуть. Совсем.

Кожа скрипит в наших руках.

Она делает шаг вперёд. Почти случайно. Почти.

Теперь между нами меньше ладони. Её пальцы всё ещё на коже, мои — чуть выше её, и я чувствую тепло её рук не прикасаясь, и от неё пахнет шампунем, зубной пастой и тем нервным жаром кожи, который появляется, когда человек делает то, чего боится и хочет одновременно.

Она поднимает лицо.

Я смотрю на её рот. Нижняя губа чуть влажная — она провела по ней языком, пока шла по коридору, наверное, или только что, я не видел, и это бесит.

Она видит, куда я смотрю. Я вижу, что она видит.

Её дыхание сбивается, тихо, но рядом со мной тихого не бывает, и я слышу, как воздух цепляется у неё в горле, как она втягивает его через приоткрытые губы и не сразу выпус-

кает.

Внутри всё собирается в одну короткую, злую команду: ближе.

Рука хочет отпустить куртку и лечь ей на талию. Не грубо. Пока не грубо. Просто почувствовать, какая она под ладонью, тонкая, тёплая, живая. Потом выше, под лопатку, при-тянуть, проверить, какой звук она издаст, когда поймёт, что между нами больше нет воздуха.

Я не двигаюсь.

Только спрашиваю:

— Стоп?

Она моргает. Слово попадает в неё, как камень в воду, и круги расходятся по лицу: непонимание, злость, смущение, что-то горячее под ним.

Она шепчет:

— Не знаю.

И я отпускаю куртку сразу. Шаг назад — резкий, такой, что спина ударяется о косяк. Боль проходит по лопатке, хорошая, конкретная, нужная, возвращающая в реальность.

Она стоит с курткой в руках и смотрит на меня так, будто я её толкнул. Может, так и есть. Не телом. Хуже.

— Ты издеваешься?

— Нет.

Голос выходит ниже, чем я хотел. Грубее.

— Тогда почему?

Я смотрю на неё. Без защиты.

— Потому что твоё «не знаю» для меня звучит как «не смей». И я, как ни странно, слушаю.

Она открывает рот. Закрывает.

В коридоре снова гудит лампа. Жёлтый свет цепляется за её волосы, за голые колени, за скомканную кожу куртки в её руках. Я провожу языком по внутренней стороне губы и ловлю себя на этом — почти кусаю.

Черт.

Она замечает. Конечно, замечает. Зрачки расширяются.

И вот это уже нечестно.

— Не стой так близко, — говорю тише, — если хочешь, чтобы я оставался приличным.

Это правда. Не вся. Вся звучала бы так: я хочу тебя настолько, что джинсы стали пыткой; хочу услышать, как ты перестанешь спорить на середине фразы; хочу прижать тебя к этой стене и смотреть, как ты решаешь — убежать или остаться; хочу, чтобы ты сама сказала «да», чётко, зло, без дрожи, и тогда мне уже никто не поможет.

— Я очень стараюсь, Камилла.

Глава 14. Мила: Приглашение

Моё имя бьёт наотмашь. Не паспортное, стерильное, из ведомостей деканата, а его «Камилла», сказанное низко, хрипло, так, будто он пробует его на вкус и ему нравится. Внутри всё сжимается в тугой, дрожащий узел. Я больше не могу держать эту куртку. Не могу стоять так близко, вдыхая его запах.

Резко впихиваю кожу ему в грудь. Отпускаю сразу, словно она раскаленная.

— Вот. Доволен?

Он ловит её легко, прямо на лету.

— Нет.

Теряюсь. Заготовленная злость даёт сбой.

— Что?

— Не мёрзни.

Его взгляд опускается ниже, скользит по моим голеням, и там, где он проходит, кожу стягивает холодом. Мурашки бегут частой, предательской волной. В коридоре просто сквозняк, говорю я себе.

Набираю в грудь воздух, чтобы сказать какую-нибудь колючую глупость, защититься, но где-то за углом утробно лязгает механизм лифта. Кабина ползёт вверх.

Магия рассыпается. Это просто подъезд. Чужие двери. Сейчас кто-то выйдет и увидит нас. Увидит меня, растрепан-

ную, в коротких шортах, замершую перед соседским парнем.

Делаю по

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.